

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 21

1967



Мария ХАЛФИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

МАЧЕХА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 21

Мария ХАЛФИНА

МАЧЕХА

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1967

Мария ХАЛФИНА

Мария Леонтьевна Халфина родилась в 1908 году в Алтайском крае. По профессии — библиотекарь.

В газетах «Звезда Алтая» и «Красное знамя», а также в журнале «Крестьянка» печатались ее стихи.

Первый свой рассказ, «Два слепых сердца», опубликовала в «Комсомольской правде» в 1962 году.

Рассказы и повести М. Халфиной печатались в газете «Известия», журналах «Огонек» и «Крестьянка».

В 1964 году в Новосибирском издательстве вышел сборник рассказов «Мои соседи», в 1966 году в Политиздате — сборник «Живет рядом семья».

МАЧЕХА

Справлять новоселье Олеванцевы решили в субботу, чтобы назавтра, в воскресный день, гости могли не спеша прийти опохмелиться и до самого вечера, не оглядываясь на часы, свободно погулять, а потом успеть проспаться, отдохнуть и к утру рабочего понедельника вполне войти в норму. Готовились к новоселью капитально, денег не жалели. Праздник получался не совсем обычный, вроде бы тройной. Как раз на субботу приходилось Шуркино рождение. Двадцать пять лет исполнялось ей в этот день. А две недели назад Павел за посевную получил почетную премию, и его показывали по телевизору.

Анфиса Васильевна, сидя перед телевизором, даже заплакала от горделивой радости. Стоит зять у трактора, степенно так руками разводит, объясняет что-то ребятам-трактористам. Хотя и худущий, а все же солидный, взрослый такой из себя мужчина!.. Олеванцев Павел Егорович, совхозный механик. Даже и не верится, что это Паша... Давно ли, кажется, сидели они с Шуркой за свадебным столом, молоденькие, глупые?..

А теперь вот тысячи людей глядят на него, а дикторша, красивенькая, словно куколка, рассказывает, как он работает, как своим умом и старанием из простых трактористов вышел в механики, как сам все время учится и других за собой тянет. И все его уважают и ценят, несмотря на молодые еще годы.

А спецовка-то на нем ее, тещиными, руками считая... Зятя Анфиса Васильевна уважала за спокойный, серьезный характер. Конечно, неплохо, если бы Паша был немножко бойчее, разговорчивей, податливее на ласку. Ну уж тут ничего не поделаешь: с каким, видно, характером бог человека уродит... Зато не в пример некоторым другим мужикам зарплату получит — всю до копейки в дом несет.

За семь лет не обидел семейных ни одним грубым словом, а тещу кличет мамашей и всегда по-культурному на «вы». Цену себе он, конечно, знает, спину ни перед кем не гнет, начальники

к нему всегда с уважением. Гляди, какую квартиру выделили в новом доме: отдельную, со всякими удобствами. Точно такую же, как главному агроному.

Один недостаток у зятя: нет у него настоящей приверженности к домашнему хозяйству. Дай ему волю, сидел бы с семьей на одной зарплате. Шурка не работает: ее дело — ребят хороших рожать да об мужике заботиться, чтобы его из дома никуда на сторону не поманило... А на одну зарплату, какой ты ни будь ударник, не очень-то расшикуешься.

Что у Павла было, когда он на Шурке женился? А теперь дом — полная чаша. И обстановочка на целную квартиру, и телевизор, и мотоцикл... А все потому, что живут они с Шуркой за матерью, как за каменной стеной. Ребятишки около бабки здоровенькие, ухоженные... Соскучатся молодые дома сидеть, поднялись и пошли. Хоть в кино или в клуб, на танцы. А что ж? Только им и погулять, пока мать жива. Приоденутся — поглядеть на них и то любо.

Паша в новом костюме — в городе в ателье шили, — что твой профессор! Брючки узкие, ботинки на резиновом ходу — модные, по шелковой рубашке галстучек темный с искрой... Ну, а про Шурку и говорить нечего — цветет, как та роза бело-розовая, про которую в песне поется. И во всем этом ее, материна, забота. Ее труд неустанный. Чего ж тут удивительного? Шурка у нее единственная. И радость, и горе, и свет в окошке. И хотя Шурка, как говорится, звезд с неба не хватала и на учение была не очень способная, а вот сумела — увела из-под носа у всех девок самолучшего жениха и ребятишек родит всем на зависть: из тысячи, может, один такой-то ребенок родится, как Юрка или Леночка.

Первые три года молодые жили при ней, в ее стареньком, крохотном пятистенке. Жили неплохо, только обстановку некуда было расставлять. Поставили в горнице двуспальную кровать-новокупку, а Юркину кроваточку хоть в сени выбрасывай. Про шифоньер или там про буфет говорить нечего, а шифоньер Шурке два года даже по ночам снился.

Три года назад, получив в совхозном доме, по соседству, комнату, молодые вроде как бы отделились от тещи на самостоятельную жизнь.

Анфиса Васильевна сама способствовала этому «разделу». По существу, в жизни семьи ничего не изменилось: в новой комнате расставили обстановку, а столовались по-прежнему с матерью; ребятишки дневали и ночевали у бабушки, да и молодые нередко уходили к себе только на ночь. Зато теперь в хлевушке у Анфисы Васильевны похрюкивали уже не одна, а две свиньи: одна «моя», другая «Пашина».

Картошку теперь садили на двадцати сотках в поле, а ма-
шин огород был целиком отведен под овощи и ягодник. Ба-
зара в совхозе не было, овощи и ягоду служащие разбирали
нарасхват.

Возвратившись как-то из города с двухмесячных курсов, Па-
вел обнаружил в полуразвалившейся, много лет пустовавшей
стайке доброй породы нетель.

— Ничего, милый зятек, косись не косись, а это тоже не
дело — таскаться каждый вечер с бидончиком в совхозный ла-
рек за молоком!

Никаких забот о домашности Павел не знал. Насчет земли,
покоса или там пиломатериала на строительство стайки, на ре-
монт маминого дома в контору с заявлением ходила Шурка.

Отказать ей было невозможно: маленькая, румяная, синегла-
зая, с синеглазым румяным младенцем на руках, она могла обе-
зоружить любого, самого прижимистого хозяйственника.

Работой домашней Анфиса Васильевна зятя также не обре-
меняла и Шурке внушала строго:

— Мужик на производстве рук не покладает, учится на ходу,
а мы с тобой, как барыни, дома сидим. Неужели вдвоем с та-
ким хозяйством не управимся?

К тройному празднику Анфиса Васильевна начала готовить-
ся загодя, основательно и не спеша: выкоптила полупудовый
красавец окорок, съездила к знакомому бакенщику за мало-
сольной нельмой, потому что какой же праздник без рыбного
пирога?

Тайком от зятя закатила на печь двухведерный лагун браж-
ки-медовухи. А кому какое дело? Мед-то некупленный, от соб-
ственных чел.

Ничего, на празднике зятек и сам запрещенной бражки вы-
пьет и гостям подносить будет, да еще спасибо скажет теще за
заботу. Шутка в деле, какая экономия получается на водке со
своей-то бесплатной бражкой!

Разливая по блюдам душистый холодец, Анфиса Васильев-
на сердито поглядывает в окно, прислушиваясь, не стукнет ли
калитка.

Шурка с самого утра возится в новой квартире, наводит пе-
ред новосельем окончателный лоск, даже Леночку покормить
ни разу не прибежала; пришлось беляночку весь день на каше
да на коровьем молоке держать.

Юрка-варначонок за эти дни совсем от рук отбилсь, носится
с ребятами, не загонишь молочка парного напитокся.

А Паша и обедать не приходил. На что это похоже? И так
уж от работы одни мослы остались.

Стукнула калитка, через двор, прикрывая лицо краем теп-

лого пухового платка и как-то по-чуждому сгорбившись, бежала Шурка.

У Анфисы Васильевны сразу, как перед большой бедой, обомлело и покатилося сердце.

Шурка тихонько выла, стучала зубами, дергала, как припадочная, головой; пришлось разок стукнуть ее по затылку, чтобы как-то привести в чувство. Бросив на стол измятый конверт, она отпихнула к стене сонную Леночку и повалилась ничком опухшим лицом в подушку.

У Анфисы Васильевны тряслись руки, строчки чужого измятого письма сливались в глазах.

— «...Может быть, ты, Павел Егорович, считаешь, что мое дело сторона, но я все же должен тебя известить, что Наташа неделю назад скорострительно померла и осталась после нее дочь Светлана, семи лет. Когда мы приехали на место, Наташа моей жене призналась, что в тягости уже на пятом месяце.

Здесь у нас Светка и родилась; фамилия у нее Наташина, а отчеством Павловна. Обличьем вылитый твой портрет, и не только обличьем, но, более того, характером: такая же серьезная и башковитая; училась нынче в первом классе на одни пятерки. Наташу сватал наш прораб, мужик одинокий, самостоятельный, только она не пошла. Жила со Светкой при нас такой же монашкой, как и до тебя жила. Я бы Светку взял, да не надеюсь на здоровье и своих ребят навалом. А в детский дом отдать при живом отце руки не поднимаются. Да и перед Наташей грех.

Так что решай, как тебе совесть подскажет. Ответ будем ждать две недели; коли не ответишь, придется решать судьбу дочери твоей чужим людям».

Дальше шли поклоны покровским родичам и знакомым и подробный адрес жительства.

— Господи! — облегченно вздохнула Анфиса Васильевна, бросила письмо на стол.— Ну, дура сумасшедшая! Испугала до полусмерти! Я думала, с Пашей что стряслось.

Письмо принесли утром. Шурка в это время была занята совершенно неотложным и очень ответственным делом: прикрепляла новые тюлевые шторы к золоченым багетным карнизам. Не до письма было. В обед заезжал Павел, взял с комода нераспечатанное письмо. И, только мельком оглянувшись и увидев, как медленно, тяжело отливает кровь от его лица, Шурка поняла, что письмо принесло беду.

— Дура ты бестолковая! Разве это мысленно?! — всплеснула руками Анфиса Васильевна.— Мужики письма идут, а она их нечитанными на комод кидает. Что же ты его не прочитала,

пока Паши дома не было?! Прочитала, сунула в печку, и нет ничего!

— Я же думала, оно от Вари, от золовки, она одна ему пишет.— Судорожно всхлипнув, Шурка оторвала лицо от мокрой подушки.— Он, как прочитал, сразу с лица сменился. Подал мне письмо, а сам сидит, молчит, как каменный. Потом встал. Пойду, говорит, телеграмму отобью, потом к директору, попрошу отпуск, дня за четыре обернусь туда и обратно. А я стала на порог в дверях. Никуда ты, говорю, не поедешь, потому что я все равно ее не приму!

Голос у Шурки сорвался. С тихим воем она опять повалилась в подушку.

— Никуда ты не поедешь, потому что я все равно ее не приму! — Шурка стояла перед Павлом, как маленькая, но непоколебимая скала.

Бледная, вскинув подбородок, прищурившись, смотрела ему в лицо чужими глазами.

— Если ребенок твой был, с чего бы она тогда уехала? Да она бы тебя, телка лопухого, враз бы как миленького округила. Значит, нельзя ей было на тебя свалить...

— Ничего ты не понимаешь,— тоскливо отмахнулся Павел.— Я ей не один раз предлагал расписаться, когда про ребенка и помину не было... Она сама не соглашалась. Не хотела жизнь мне портить, потому что старше меня была и нездорова. А про ребенка скрыла и уехала, чтобы руки мне развязать. Услышала, что я с тобой дружить начал, и пожалела...

— А если бы сказала, значит, на ней бы женился?! Променял бы меня на старую... на страхолюдину?! Такая, значит, твоя любовь ко мне была?!

— Я ж от тебя ничего не скрывал, ты все знала...

— Врешь! — яростно взвизгнула Шурка, с трудом сдерживая подкатившиеся к горлу слезы.— Я думала, что ты с ней просто так... трепался, а ты... Посмотри в зеркало на себя, как тебя сразу перевернуло! Значит, любил, если так переживаешь! А теперь дочь ее пригильную на шею мне хочешь посадить?! Не бывать этому никогда! И думать об этом не смей!

— Дура ты, Шурка! Если ты ее не примешь, что же я тогда делать буду? — потерянно спросил Павел.

— Если, говорит, ты ее не примешь, что же, говорит, я теперь делать буду? — Всклипывая и сморкаясь в Леночкину пе-

ленку, Шурка сквозь опухшие от слез веки растерянно, умоляюще смотрела на мать.— Потом куртку рабочую снял, надел новый пиджак и ушел. А письмо в куртке, в кармане, осталось... я и взяла...

— Ладно, хватит выть! — сурово оборвала мать.— Хорошо, что хоть ума хватило, не поддалась ему, сразу твердо на своем постановила. Так вот и будешь держаться. Домой не пойдешь. Умойся и ложись с Леночкой, а я с Юркой в кладовке постелеюсь. Не реви, обойдется. Побегает, побегает, одумается и прибежит. Одного боюсь: не проболтался бы кому про письмо сгоряча! Да нет, не может такого быть. Парень он неглупый, не захочет своими руками и на тебя и на себя петлю такую надеть. Спи, твое дело маленькое. Теперь уж я сама с ним разбираться буду!

Павел пришел, когда уже начали меркнуть в окнах поздние огни. Заглянул в темную горницу, молча постоял на пороге.

Шурка, облившись потом, замерла неподвижно, стиснула намертво зубы, зажмурилась, чтобы он даже дыхания ее не услышал.

— Письмо у вас, мамаша? — вполголоса спросил Павел, усталю присев к столу.

— Садись ужинать да спать ложись, ходишь голодный по целым дням.

Анфиса Васильевна не спеша, вразвалочку собрала на стол.

— А письма никакого не было и нету, и хватит тебе, Павел, мудрить-то над нами. Уж если нас не жалко, Леночку хоть пожалей! Испортится у Шурки молоко, сгубите ребенка! Ты посмотри, до чего бабу довел!

— Я перед ней ни в чем не виноватый: она про меня все знала, и вы... тоже знали. А что у меня где-то дочь растет, я сам только сегодня узнал.

— Да какая она тебе дочь?! — ахнула Анфиса Васильевна.— Кто это доказать может? И кто тебя за язык тянет дочерью ее признавать? Ну был бы ты партийный, тогда — другое дело...

Анфиса Васильевна присела рядом с Павлом, тронула тихонько за плечо.

— Может, ты опасаясь, что тебя из ударников уволят? Ну и бог с ними, сынок! Неужели тебе красная книжечка дороже жены и детей? А позору-то сколько! Что люди-то про тебя скажут?! Да нам с Шуркой от стыда глаза на улицу показать нельзя будет.

Анфиса Васильевна тихонько всхлипнула и торопливо высморкалась в уголок фартука.

— Ты объясни мне: с чего ты это задумал? Чем ты недовольный? Чего тебе не хватает? Были бы вы с Шуркой бездетные, я бы слова не сказала, а то ведь свои есть: сын и дочка — красные деточки, родные. Чего тебе еще нужно?

— Эти свои, а та чужая? — скривился Павел.

— Стыдно тебе, Паша, и грех! — Анфиса Васильевна поднялась, оскорбленно поджав губы. — Какое же тут сравнение может быть? Александра тебе законная жена, а Юрка и Леночка — законные дети. А там... Что ты людей-то смешишь? Таких-то детей у каждого мужика дюжина по белу свету раскидана. Если каждый начнет своих пригульных подбирать да женам подбрасывать, это что же тогда получится? Для того и закон особый про матерей-одиночек придуман: нагуляла, получи от государства сколько положено, а к женатому человеку не лезь, законную семью не нарушай!

Павел сидел, тяжело навалившись на стол, сутулый, поникший. Надо же так! За один день свернуло парня, словно от тяжелой болезни!

— Не расстраивайся ты, Паша, успокойся, обумись!

У Анфисы Васильевны от жалости запершило в горле.

Павел похлопал себя по карману, достал помятую пачку папирос. Подумать только! Шесть лет не курил, это что же с мужиком подеялось! Сглазил его кто, что ли?

— Обумись, сынок, одумайся! Разве такое дело стгоряча можно решать? Вот отгуляем новоселье, а потом и поговорим, по советуем сообща, что делать. Ты и сам потом спасибо скажешь, что не дали тебе пустяков разных натворить. Ты рассуди только: девочка тебя не знает, ты же для нее дядька чужой. Девочка, по всему выдать, избалованная, характерная; ее надо сразу к строгости приучать, к порядку, к работе.

Павел, словно спросонок, вскинул голову и пристально уставился в разгоряченное лицо Анфисы Васильевны.

— Была бы Шурка постарше да характером потверже, — не замечая его внимательного, угрюмого взгляда, продолжала Анфиса Васильевна. — Ну разве она может? Ну, подумай ты сам, какая из нее мачеха?!

— А моей дочери, мамаша, не мачеха нужна, а мать... — Павел размял в пальцах папироску, закурил неумело. — У законных моих детей все имеется: и отец, и мать, и бабушка, и дом родной! А у... той никого. Я один. Что же касается Александры, так ей не семнадцать лет и не настолько она глупая, как некоторые считают. Вы, мамаша, не обижайтесь, разве не из-за вас ее до двадцати пяти лет все Шуркой кличут? Вся причина в том, что не своим умом она живет, а вашим. Кто ей внушил, что учиться она неспособная?

Почему она работать не идет? «На ферме в навозе копать или уборщицей чужую грязь выворачивать за гроши...» Чьи это слова? А кто ей в голову вбивал, что замужней в комсомоле состоять не пристало? Подушки дурацкие вышивать, хоть весь день сиди, а если она книжку в руки взяла, вы сейчас же ворчать начинаете.

А не по вашей указке она тайком от меня Юрку в город крестить таскала? А теперь вы, кажется, к Ленке подбираетесь? Нет, мамаша, камнем тяжелым вы у нее на ногах висите. И между нами камнем легли...

Павел поднялся из-за стола, незнакомый, чужой. Снял с гвоздя старую кепку.

— Дочь свою я к вам не привезу, вы не беспокойтесь. Поскольку жена не может стать матерью моей дочери, приходится мне другой выход искать. Приходится со своей бедой в люди идти. Дочку я к сестре, к Варе, увезу, у нее своих трое, среди них и моя лишней не будет. Из совхоза я увольняюсь. Буду в Варин колхоз переводиться, чтобы около дочери быть; квартиру получу — приеду за Александрой...

— Не пуцу! — сдавленно крикнула Анфиса Васильевна. — Никуда она от меня не поедет, идиёт ты бешеный!

— Ладно, мамаша, это дело нам с женой решать. — Павел хмуро взглянул в перекошенное злой гримасой, плачущее, старое и жалкое лицо тещи. — Не навек расстаемся. Поживем с Шуркой одни, научимся своим умом жить и опять в одну семью соберемся. И дочь моя тогда вам помехой не будет.

Затихли тяжелые шаги под окном, стукнула калитка... Анфиса Васильевна, сгорбившись, привалилась плечом к печке. В левом боку колело, тошнотой подкатывало под сердце.

Вот тебе и новоселье!.. Преподнес муженек подарочек ко дню рождения милой жене!

Вот сейчас выскочит она из горницы, повиснет с ревом у матери на шее.

В горнице захныкала Аленка, и в ту же минуту в темном проеме двери возникла Шурка. Одетая, обутая, словно не лежала только что в одной рубашонке под одеялом.

Деловито закалывая на затылке растрепанную тяжелую косу, прошепелявила сквозь зажатые в зубах шпильки:

— Ленка проснулась, ты, мам, покорми ее, а завтра каши да киселя ей навари. Да Юрку, смотри, одного на речку не пускай!

— Куда?! — ахнула Анфиса Васильевна. — Дура заполошная, куда ты?

Накинув платок, Шурка, на ходу оглянувшись на мать, бросила с порога:

— Сама я с ним за Светкой поеду, вот куда!

Новоселье справить так и не пришлось. Все как-то спуталось, перемешалось. Какое уж тут веселье-новоселье! Да и деньги ушли все до копейки. Назад со Светкой летели самолетом, чтобы сэкономить время. Для Павла дорог был каждый час.

Дома расходы тоже потребовались немалые. Просить денег у матери не хотелось, пришлось до Павловой полочки перехватить полсотни у Полинки Сотниковой.

Со Светкиным устройством Шура пришлось считать что в одиночку самой все обдумывать и решать, потому что Павел, как приехали, сразу на летучку и по полям, только его и видели.

В маленькой спальне повернуться и так было негде, приходилось кровать для Светки ставить в «зале» — так Анфиса Васильевна горделиво называла вторую, большую комнату.

И вот за какие-то полчаса прахом пошла вся красота, которую с такой радостью, с таким старанием наводила в «зале» Шура, готовясь к новоселью.

Чтобы выгородить для Светки отдельный удобный уголок, зеркальный шифоньер развернули и поставили боком к стене. Круглый, под бархатной скатертью стол в окружении четырех полумягких стульев с середины комнаты был отнесен в угол, к тахте. Телевизор с самого видного места пришлось передвинуть в простенок, приемник со столика перекочевал на подоконник, а столик ушел за шифоньер, в Светкин угол. Стенную, красного дуба полочку, на которой стояли золоченые вазы с великолепными бумажными георгинами, Шура сняла и повесила над Светкиным столиком: надо же девчонке куда-то ставить свои книжки. Пышный, уже набравший цвет тюльпан за неимением места пришлось подарить Полинке.

Деньги, и свои и заемные, растаяли за несколько дней. Купила голубенькую односпальную кровать, а к кровати хочешь не хочешь нужен коврик, хоть небольшой. И постель, за исключением подушки, пришлось заводить новую. Платьишки, привезенные «оттуда», были какие-то старушечьи, серые и длинные. Шура просто видеть их не могла. Прежде всего из цветного штапеля она сшила два нарядных платьица, два веселеньких ситцевых сарафана и несколько трусишек. Для постоянной носки купила красные сандалики, а для непогожих дней — ботинки и теплую кофточку.

После всех этих хлопот Шура смогла наконец спокойно

вздохнуть. Дело летнее, можно пока обойтись, а потом уж не спеша начинать готовить Светку к зиме, к школе.

Взглянуть со стороны — никаких особых изменений в семье не произошло: было раньше двое ребят, стало трое. Только и всего. Жили теперь оседло, в собственной квартире. Один Юрка по-прежнему кочевал из дома к бабушке и обратно; теперь он стал вроде связного между двумя хозяйствами.

Анфиса Васильевна к молодым навещалась нечасто: не могла она забыть жестоких Павловых слов, не могла простить Шурке ее неожиданного самовольства. Теперь она ни во что не желала вмешиваться.

Попробуйте, милые детки, поживите своим умом, если материн ум вам во вред пошел... Если мать не помощью, не опорой вашей, а камнем тяжелым стала для вас...

Один только раз не выдержала Анфиса Васильевна, выложила все, что накопело на душе.

— Ну, Шурка, надела ты на себя петлю, — сказала она, глядя на дочь с суровой жалостью. — С таким дитем сладить — не твой характер и не твой умок требуется. Разве же это ребенок? Ты погляди: она людям в глаза не смотрит, говорить с людьми не желает. А нарядами этими да баловством ты, милая моя, все равно в добрые перед ней не войдешь, только больше еще себя перед ней унизишь. Потому что нету в ней никакой благодарности, не желает она осознать, что ты сиротство ее пожалела, что содержишь ее наравне с родными, законными детьми.

А раз не желает она тебя признавать, так ты ей теперь хоть масло на голову лей, все равно и перед ней и перед людьми ты будешь мачеха... злодейка. Дура ты, дура! — Анфиса Васильевна горестно, громко вздохнула.

— Нет, чтобы мать-то послушать, если своего умишка не богато... Испугалась, овечка глупая! Как же! Обидится муженек, разлюбит, бросит еще, пожалуй! Выхвалиться перед ним захотела: вот, мол, какая я к тебе сознательная! Он теперь и сам, поди, видит, какое золото в семью привел, какой беды натворил, да только обратно ходу нет, не просто вам теперь это ярмо с шеи скинуть. Не высунулась бы ты тогда раньше времени, и никуда бы он не девался! Побегал бы, пофыркал и прибежал бы, как миленький, обратно. Да еще у тебя же прощения просил бы за обиду...

Шура матери не возражала, не оправдывалась перед ней. Не пыталась объяснить, какая сила подняла ее тогда с постели, что заставило из материнского дома, от сонных ребятишек бежать глухой ночью вслед за Павлом...

Конечно, силком Пашу никто не мог заставить признать эту

самую Светку. И про то письмо люди могли бы не знать... Ну ладно. Пусть бы он отрекся, отказался бы от нее... А дальше как? Знать, что живет где-то девчонка одна-одинешенька... круглая сирота... при живом отце... безродная...

И не забыть никогда тех горьких Пашиных слов: «Приходится мне со своей бедой в люди идти». Семь лет жила она за широкой Пашиной спиной, ни горя, ни заботы настоящей не знала. Он, глупый, думал, что рядом с ним верный человек живет, надежный. Надеялся, что до конца жизни у него с женой и радости и горе — все пополам будет. А вот случилась у него первая трудность, жена за материн подол схоронилась и талдычит оттуда, как попугай: «Не пушу! Не приму! И знать ничего не хочу!»

И не забыть никогда, как бежала она к нему ночью, как испугалась, увидев слепые, темные окна: и огня не зажег и дверь за собой не закинул... Только сапоги по привычке сбросил у порога. Лежал в потемках, не раздевшись, один на один со своим переживанием... Вот тогда-то и озарило Шурку, что теперь все зависит только от нее. Что не он, сильный и умный, а только она может отвести неожиданную беду, нависшую над их гнездом.

Скинув на плечи платок, она присела на край тахты, пихнула Павла кулачком в бок, чтобы подвинулся, сказала ворчливо:

— Ну чего теперь психовать-то? Подумаешь! Люди вон совсем чужих детей берут на воспитание, а эта нам все ж таки не чужая...

Павел не удивился, не обрадовался. Он даже и глаз не открыл. Только засопел, словно на высокую гору вылез.

— А я ровно знала, что нам ехать, деньги утром с книжки сняла... — Не успеv договорить, Шура громко, протяжно зевнула... Нет, к таким переживаниям надо, видно, привычку иметь... Привалившись враз отяжелевшей головой к плечу Павла, засыпая и борясь со сном, она озабоченно пробормотала: — Светает уже... Ой, не проспать бы... к поезду...

— Не бойся... Спи! — Широкой ладонью Павел прикрыл заплаканные Шуркины глаза, чтобы не потревожила ее до времени ранняя летняя заря. — Спи знай! Я разбужу.

Была бы Светка, как другие дети... Поскучала бы, поплакала да и начала бы помаленьку привыкать. Все бы и обошлось и наладилось бы. На первых порах Шура только об одном думала: чтоб как можно меньше бросались людям в глаза Светкины странности, чтобы, пока не попривыкнет она хоть немнож-

ко, не пялились бы на нее люди, не замечали, насколько не похожа она на других ребят.

И никому, даже задушевной своей подруге Полинке Сотниковой, ни словечком не обмолвилась Шура о странных болезнях Светкиной матери, о ненормальном Светкином воспитании.

Очень уж боялась она за Павла. Не разберутся люди, станут говорить: «Дочь-то у Павла Егоровича недоразвитая... полудурок... в мать зародилась».

Жалеть начнут, сочувствовать... А другой гад еще и посмеется. Есть ведь и такие, что очень не любят Павла за прямой характер, за строгость в работе. Рады будут за его спиной зубы поскалить.

Подруга со школьной скамьи, а теперь соседка по дому Полина Сотникова, наглядевшись на Светку, шипела в сенцах, тараша на Шурку круглые любопытные глаза:

— Ой, Шурена, я, ей-богу, и одного дня с ней не вытерпела бы! Ну чего ее корежит? Что она молчит, как зарезанная?! А может, они с матерью в секте состояли? Ты знаешь, какие они, эти сектанты, вредные?!

— Прямо-то! Еще чего не придумай! — со смехом отмахивалась Шура. — Девчонка как девчонка! И чего она вам всем далась? Привыкнет! Тебя бы вот так-то: взять от родной матери, из своего угла, да завезти бы на край света, в чужой дом, к незнакомым людям — легко бы тебе было? А что молчит, так в кого ей шибко разговорчивой-то быть? Вся она — папенька родимый: и лицом, и характером, и разговором. Капля в каплю Павел Егорович: в час по словечку, и то в воскресный день.

Все сочувственные вздохи, вопросы и советы Шура выслушивала, безмятежно посмеиваясь.

Будто бы не видела она ничего странного в том, что семилетняя девчонка не умеет улыбаться, что невозможно поймать косого, ускользающего взгляда ее всегда опущенных глаз.

Словно не тревожило Шуру и ничуть не тяготило Светкино молчание.

Разговаривать Светлана могла вполне нормально, не заикалась, не страдала косноязычием. Просто она могла в разговоре обходиться всего двумя словами: «да» и «нет». И еще время от времени она говорила:

— Не надо... я сама...

Произносила она эти слова тихо и невыразительно, но с каким-то непреодолимо тупым упорством.

Когда с ней кто-нибудь заговаривал или просто ловила она на себе чужой пристальный взгляд, плечи у нее приподнимались вверх, а голова медленно и плавно начинала поворачиваться влево, пока подбородок не упрется в плечо. Со стороны

казалось, что кособочит ее какая-то тайная сила, какой-то особый механизм, запрятанный в шейных позвонках. Причем косою взгляд ее опущенных глаз в этот момент уходил куда-то совсем уж вкось, за спину, за левое плечо.

Только благодаря неистощимому Шуркиному благодушию можно было не замечать этого нелепого кособочия и хоть в какой-то мере противостоять глухому упорству противных слов: «Не надо.. я сама...»

— Давай я тебе коски заплету,— говорит утром Шура, притягивая к себе Светку за плечо.

— Не надо... я сама...— Светка вывертывается из теплых Шуркиных рук и, скособочившись, отходит в угол.

— Ну что ж, сама, так сама,— покладисто соглашается Шурка.— Пока дома сидишь, можно и самой. А вот как в школу пойдешь, тогда уж смотри...— И начинает, посмеиваясь, рассказывать, как Екатерина Алексеевна один раз выставила ее из класса, когда она, еще во втором классе, явилась в школу с плохо прибранной головой.

— А причесываться надо перед зеркалом, а то гляди, какую дорогу сзади оставила.— Шура подбирает длинную прядку волос и вплетает ее в Светкину косичку, словно не замечая, что Светкина голова совсем ушла в плечи, что вся она сжалась, напряглась, как будто вот сейчас должно случиться что-то очень нехорошее.

— А вообще-то ты все же молодец! Смотри, как гладенько заплелась и проборчик пряменький...— Она снимает с комода зеркало и ставит его на Светкин столик.— Гляди-ка! Я этак-то и в десять лет еще не умела.

А Светка действительно многое умела делать. Даже и не поверишь, что девчонке еще восьми лет не исполнилось.

Шура часто хвалилась перед бабами:

— У нас Светлана такая до всего способная! Читает, как большая, первый класс на круглых пятерках закончила. И в любой работе такая проворная, такая растет помощница... И все сама. Ни просить, ни заставлять не нужно. Сама дело видит. Уж эта не будет тунеядкой, как у некоторых доченьки-белоручки!

Довольно быстро Шура нашла хитроумный способ «разговаривать» со Светкой.

— Свет! Гляди, какие пуговички, по-твоему, лучше подойдут? — спрашивает она, раскинув перед Светкой нарядное пестрое платье.— Красненькие или зеленые? Красненькие вроде больше личат, верно? Ну что же, ладно. Давай тогда красненькие и пришьем.

— Свет! Ты когда за хлебом ходила, видела, какие в ларек арбузы привезли? Как ты думаешь, спелые? Ну, коли спелые,

давай, пока Ленка спит, сбегает. Вдвоем-то мы шутя сразу пять штук принесем: ты в сумке два маленьких, а я в мешке три больших. Папка придет — вот удивится-то! Как это, скажет, вам пособило столько арбузов натаскать?

Они отправляются за арбузами. По дороге Шура рассказывает, как однажды она пожадничала и купила два большущих арбуза, а ни сумки, ни мешка с собой не было. Вот и пришлось ей один арбуз в руках нести, а другой ногами катить перед собой. Так вот через деревню на потеху ребятишкам и пинала она арбуз, как футбол, до самого дома...

Она рассказывает и звонко хохочет. И со стороны действительно может показаться, что вот идут по улице двое и о чем-то оживленно и весело толкуют.

Но все это могло только показаться со стороны, если не присматриваться. Шли недели, а Светка продолжала молчать. И была такой же чужой и немилрой, как и в первые дни. Соседские девчонки норовили было с ней познакомиться, но скоро отступились. Кому она нужна, такая... кособокая?

Была она послушна. Молча, чем могла, помогала Шуре по хозяйству. Ходила за молоком, за хлебом в ларек.

Все свободное время проводила она за столиком в своем углу. Шура заметила, что любит она рисовать, шепнула Павлу, и он навез из города карандашей цветных, красок разных, альбомчиков для рисования.

Как-то в большую уборку Шура обнаружила под Светкиным матрасом альбом, до конца заполненный рисунками. Интересно так срисовано, где из книжек, а где и из головы, видно, придумано, и красками и карандашами.

Но никогда не видела Шура, чтоб взяла Светка нож карандаши починить или налила бы воды в стакан кисточки мыть.

Все тайно, все крадучись. И никогда не застанешь ее врасплох. Войдешь в залу, заглянешь за шифоньер — перед ней на столе «Мойдодыр» развернут. Большущая такая книга с картинками. «Мойдодыр» она и закрывала свое рисование, прятала от чужих глаз. Значит, всегда она настороже, всегда в ожидании. А почему? Боится ли она кого или стыдится? Шура не спрашивала. С первых дней ей как-то само собой стало ясно, что расспрашивать Светлану ни о чем не нужно. Нельзя...

Очень хотелось Шуре приучить Светку к куклам. В кукольном уголке на кукольном стуле одиноко сидела нарядная белокурая красавица Катя. Подарок отца. На кукольной кровати, прикрытый легкой простышкой, сиротливо лежал смугленький голыш. Но ни разу не видела Шура, чтобы взяла Светка куклу на руки или поняичила голыша.

Только как-то однажды ранним утром, заглянув за шифонь-

ер, Шура обнаружила, что голыш поверх простыни прикрыт теплой Светкиной косынкой. Значит, все же пожалела Светлана маленького, ночи-то были уже по-осеннему холодны. Больнее всего обижало, что не хотела Светка носить нарядные, новые платья, которые с таким старанием шила для нее Шура. Сходит в магазин и, спрятавшись за шифоньер, сбросит новое, Шурино, и торопливо натягивает старенькое, «свое». А новое аккуратно повесит в шифоньер. И лицо у нее в этот момент такое, что Шура понимает: ни сердиться, ни уговаривать, ни убеждать нельзя. А «своего» у Светки только и было, что два серых, застиранных платьишка и старая, потертая сумочка — «мамин редикуль».

Павел еще там, на месте, хотел взять из «редикуля» и положить в свой бумажник Светкину метрику и документы ее матери, но Светка прижала «редикуль» к животу и, скособочившись, начала медленно пятиться к двери. Было ясно, что «редикуль» у нее можно было взять только силой.

Метрику она позднее отдала сама, когда Шура объяснила, что без метрики в школу могут не принять. Должны же учителя точно знать, сколько ей лет. А метрика-то была нужна для оформления Светки на фамилию отца. С «редикулем» Светка почти не расставалась. Ночью клала под подушку, а позднее, даже идя в магазин, стала брать его с собой. Шуру томило любопытство: что в нем таится такое драгоценное, что нужно так бдительно охранять, прятать от чужих глаз? Она все же не утерпела, выбрала удобный момент, когда Светка ушла на речку, и заглянула в «редикуль».

Какие-то старые конверты, картинки, квитанции. Паспорт. А в нем, в аккуратном конвертике из розовой промокашки, старая фотография. Длинное, плоское лицо, без выражения, без улыбки в тусклых глазах... Господи! И как только Паша мог?! И какое же это счастье, что Светка всем обличьем зародилась в отца. А иначе... не стерпеть бы, не вынести...

Шура тихонько всхлипнула и торопливо сунула «редикуль» обратно под постель.

«Дуреха, дуреха, ну кому нужен твой «редикуль»? Чего ты трясешься над ним?»

Шура тогда еще не знала, что за «редикулем» уже давно охотится Юрка, что совсем не так-то просто охранять от него Светлане свои сокровища. Многого тогда еще Шура не знала. Вернее, просто не придавала значения — хотя бы тому, что Юрка окончательно отбился от дома и скоро, видимо, совсем переселится на жительство к бабушке. За последнее время он очень огрубел, стал какой-то дерганный, противный. А что хуже всего, он, оказывается, люто возненавидел Светку.

Когда Шура хватилась, было уже поздно: ни лаской, ни строгостью не могла она убедить Юрку если не подружиться, то хотя бы просто оставить Светлану в покое. Однажды она услышала Юркин выкрик: «Поганка черномазая! Приблуда! Немтырь толстогубый!» Как следует отхлестала его кухонным полотенцем и загнала в угол; правда, он тут же вывернулся и с ревом убежал к бабке.

Теперь он эти слова и еще многие другие не выкрикивал вслух, а шипел, кривляясь на пороге спальни или бегая назло взад-вперед мимо шифоньера. Он изводил Светку методически, с ревнивой и хитрой выдумкой баловня семьи, любимчика, отстраненного с привычного места по вине этой черномазой приблуды. Действовал он смело, в случае поражения он всегда мог отступить на надежные и хорошо укрепленные позиции — за бабкину спину.

Как-то прибежал он с улицы, весь в глине, потный, возбужденный. Прибежал, чтобы поесть на ходу и скорее бежать обратно.

На берегу Каменки, за новыми сараями, строили они под руководством третьеклассника Игоря Истомина крепость трехэтажную, с минометами в окошках, а окошки, Игорь сказал, называются ам-бра-зуры.

Шура с интересом слушала сообщение о строительстве. Надо бы поругать неслуха: опять, выходит, ни дома, ни у бабушки не обедал, но очень уж не хотелось заводить грех.

— Ладно. Иди, мой лапы да садись за стол,— сказала она миролюбиво, раскатывая на столе скалкой большую круглую лепешку из теста.

Юрка убежал в сени и закричал оттуда, гремя умывальником:

— Мам, воды налей!

— У меня руки в тесте,— откликнулась Шура.— Попроси Свету, она нальет...

— Да-а-а...— гнусаво завел Юрка.— Ка-а-к жа! Нужна она мне... буду я ее просить...

— Ну не хочешь, как хочешь. Сиди жди, пока я лапшу не сделаю.

— Да-а-а! — взвыл уже на весь голос Юрка.— Мне скоро надо!

Из «зала» вышла Светка, направилась бочком в сени.

— Света, поди-ка ко мне,— негромко окликнула ее Шура.— Зачем ты ему потакаешь? Ему, свиненку такому, четыре вежливых слова сестре сказать неохота, а ты потакаешь... Конечно, ты у нас большая, старшая, ты должна младшим помогать, учить их, но капризам ихним никогда не потакай! Орет? Ну и

пушай орет! Сорвет дурь, глядишь, хоть на копейку поумнее станет.

Юрка, примолкший, чтобы послушать, о чем в кухне идет разговор, при последних словах завопил от возмущения совсем уже по-дикому. Потом в сенях с грохотом покатилося поганое ведро, и тут же о порог хрястнулся кусок мыла.

Шура не спеша отерла руки полотенцем и пошла в сени. Волоком тащила она Юрку через кухню. Когда он особенно крепко упирался, она наклонялась и маленькой жесткой ладонью добавляла еще к тому, что уже было всыпано для начала в сенях.

Она уволокла его в спальню: там, между комодом и Ленкиной качалкой, Юрка обычно всегда отбывал наказание за свои грехи.

— Посидишь до ужина. Потом в сенях приберешь, потом прощения попросишь.

Вот какой был на этот раз приговор.

Шура плотно прикрыла за собой дверь в спальню. Подле шифоньера, съездившись, втянув голову в плечи, стояла Светка.

Смутное, большеротое, скуластое ее лицо было искривлено жалкой, плаксивой гримасой.

Подумать только! Неужели она жалеет Юрку?!

Конечно, Шура прекрасно понимала, что не Юрка придумал все эти поганые слова: «приблуда», «немтырь»...

Но как можно было его удержать дома, не отпускать к бабушке? Мать и так даже похудела от всех этих переживаний, Леночку почти не видит. Если еще и Юрку у нее отобрать, что же это будет?

Ругаться с ней, чтоб не настраивала она Юрку, просить, чтоб не говорила при нем чего не следует,— все это ни к чему. Тем более теперь, когда начинают сбываться ее пророчества: «Не твой характер... Не твой умок требуется, чтобы с этим дитем сладить...» Ладно, пусть она дура. Пусть Светлана не желает ее признавать. Ну, а уж Юрку-то своего она хорошо знает. Никакой он не злыдень. Забили ребенку голову. Одиң одно внушает, другой — другое. Вот разъяснить ему все, как было, не такой уж он маленький — поймет, тогда и бабкиного шипения слушать не станет.

Вечером, уложив Леночку спать, Шура притянула Юрку к себе, зажала между колен, чтобы не вертелся.

Юрка только что помыл перед сном ноги, стоял у нее в коленях в одних трусишках, смугленький, крепкий, как малень-

кий гриб-боровичок, с любопытством выжидательно смотрел в лицо матери.

Шура вынула из косы гребень и стала полегоньку разбирать, расчесывать густые Юркины волосы, выцветшие за лето на солнце и пахнувшие солнцем, и ветром, и еще какой-то полевой травкой.

— Ты вот все зловедничаешь, обижаешь Светку, а того не понимаешь, что другая девчонка на ее месте давно бы уж папе на тебя пожаловалась. А он бы тебя выдрал, и правильно. Она девчонка, а ты парень, ты должен за нее всегда заступаться, потому что она тебе сестра. Можешь ты это понять или нет? Родная, кровная сестра... А папа наш, как тебе и Аленке, так и ей такой же папа...

— А ты? — прищурившись, с любопытством перебил Юрка.

— Ну, а я... мама...

— А бабаня говорит, что ты мачеха.

— А ты не слушай,— сердито оборвала его Шура.— И слова этого никогда не говори, оно нехорошее...

— Матерное?

— Ну хотя и не матерное, а все равно нехорошее. Вот слушай, я тебе сейчас все разъясню. Был наш папа совсем еще молодой...— Шура заговорила медленно, негромко, словно новую интересную сказку придумывала.— Такой был папа молодой, ну вот как Саша Сотников, только Саша еще учится, а папа уже был трактористом. А тебя и Аленки еще на свете не было...

— А мы где были? — удивился Юрка.

— Не вертись ты и слушай. Не было вас, потому что вы еще тогда не родились. А меня папа тоже не знал...

— Ты тоже еще не родилась?

— О господи! — Шура на минуту задумалась, потом тряхнула головой и решительно повела дальше рассказ о том, «как это все было». Все — от начала до конца.

— А когда мы с папой приехали, Светину маму уже похоронили, а Света все плакала...— Голос у Шуры сорвался. От умиления и жалости она и сама чуть не расплакалась.— Папа говорит ей: «Не плачь, Света, я твой родной папа, а еще у тебя теперь будет сестра Леночка и брат Юрик. Он тебя никому в обиду не даст».

Юрка слушал, хмуро насупившись, но вот и у него губы начали набухать... Он поднял на мать налитые слезами глаза.

— Мам... — прогудел он, всхлипнув,— не надо ее нам... скажи папе... пусть обратно увезет...

С малых лет и до самого последнего времени среди своих семейных Шура славилась умением поспать. Мать называла ее соней-засоней, а Павел смеялся, что Шурка, как котенок на теплой лежанке: свернется клубочком, малость помурлычет и готова — засопела.

А теперь вот она впервые на себе узнала, что это такое — бессонница. И недаром люди говорят, что бессонница хуже болезни.

Лежать, таращить глаза в темноте и думать все об одном... Особенно плохо спалось, когда не посапывал рядом Павел, а он теперь нередко и на ночь оставался в поле. Уборка шла круглосуточно. Лето задалось тяжелое: сначала жгла засуха, а подошла уборка — начались дожди.

Ребят Павел почти и не видел: уезжал на заре, приезжал поздним вечером, когда они уже спали. К этому часу сил у него оставалось ровно столько, чтобы успеть помыться и уже через силу прожевать то, что торопливо ставит перед ним на стол Шура.

Поначалу, как привезли Светку, Павел с тревогой присматривался и к дочери и к жене. Но вскоре успокоился. Полностью доверился Шуре, окончательно убедившись, что не способна его Шурка обидеть ребенка, тем более сироту.

Шурка не дулась, не попрекала его Светкой, не жаловалась на нее. Чего еще можно было желать? Тем более, что не оставалось у него ни минуты свободной на семейные дела. Все же он интересовался, каждый раз заглядывая мимоходом за шифоньер, спрашивал тихо:

— Ну, как она?

— Ничего, — неизменно отвечала Шура, — привыкает помаленьку... Ложись давай.

А что другое она могла ему ответить, если он от усталости валился с ног и на ходу засыпал?

Да, она не жаловалась. В том-то и была беда, что ей некому и не на кого было пожаловаться. Правильно мать-то говорила. Кого теперь винить, если сама она на себя эту петлю надела?..

Была бы Светка, как другие дети... А может, правильно Полинка говорит, что все-таки есть в ней какая-то ненормальность? Может, сказать Паше, свозить ее в город к врачам по этим самым болезням... Может, забрали бы ее куда-нибудь... лечить... Есть же, наверное, где-нибудь больницы или дома специальные для таких...

Ой, нет! Господи, что это, какая дикость в голову лезет?! К учению ребенок способный, сноровка во всяком деле, как у большой... И не сгрубит никогда... не своевольничает... Просто

требуется к ней особый подход, а какой он, этот самый подход?

Может, с ней строгость нужна? Может, надо встать перед ней да и спросить напрямую: «Чего тебе не хватает? Чего ты хочешь?»

Шура садится в постели и, охватив колени руками, мерно покачиваясь, начинает еще раз перебирать в памяти, как ездили они с Пашей за Светкой, как увидела она ее в первый раз.

Мельниковы, те, с которыми Наташа уехала на Север, встречали их на пристани.

Николай Михеевич, обняв Павла, сказал растроганно:

— Знал. И ни минуты не сомневался в тебе, Павел Егорович! — Потом он пристально посмотрел на Шуру. — Значит, и жинка с тобой пожелала... Ну вот и добро! — И как-то очень серьезно и уважительно пожал ей руку.

Потом его жена Марина Андреевна подвела к ним Светку. Светка прижимала к животу старую, потрепанную сумочку. Не поднимая опущенных глаз, она молча подала руку сначала Шуре, потом Павлу.

Павлу-то догадаться бы, обнять ее, на руки бы взять, а он растерялся, топчется на месте, положил руку ей на плечо и молчит.

Марина Андреевна заплакала, а Николай Михеевич отвернулся, покашлял и говорит:

— Ну, ладно, пошли!

Квартира у Натальи была при почтовом отделении — большая комнатка, не то, чтобы грязная, а какая-то запущенная, серая. И все в ней было серое, даже шторка на окне не белая, а из какого-то серенького ситчика. И наволочки на плоских подушках и старенькое байковое одеяло на железной кровати.

У Шуры даже под ложечкой засосало, когда представила она себе, как привезет все это... серое в свою новую, светлую квартиру.

Она незаметно вызвала Павла на крылечко и, заглядывая снизу в его сумрачное лицо, умоляюще зашептала:

— Давай, Паша, не будем ничего отсюда брать. Я для нее все свеженькое пошью, новенькое, ладно?! И подушечка у меня для нее есть чистопуховая, а одеяло ватное, сатинетовое ей сама выстегая...

Павел смотрел ей в лицо пристально, хмуро.

— Ну что ж, — вздохнул он невесело, — правильно, пожалуй...

А ей объясни, что обратно самолетом полетим, а в самолет, мол, с вещами не берут...

Так вот и получилось, что на новое жительство увезла Светлана только несколько платьишек, связку книг и «редиккуль».

Больше всего удивило Шуру, что у Светки не оказалось никаких игрушек, ни единой, хотя бы дешевенькой, хотя бы са-модельной куклешки.

И еще молчаливость. Конечно, каждому понятно: девочка все же большая, только что схоронила мать... Но все же ни разу не поднять глаз, не сказать ни словечка, кроме «да» и «нет».

Марина Андреевна на все Шурины расспросы отвечала уклончиво, неохотно.

Едва-едва удалось Шуру ее разговорить. Со вздохами, паузами, а где и со слезами рассказывала Марина Андреевна историю невеселого Светкиного детства.

— Болела Наталья много, сердце у нее было плохое, ну и головой очень она мучилась. Болезнь какая-то у нее нервная была, врачи признавали — неизлечимая. А если по-нашему, по-простому сказать, была в ней порча: накатывала на нее тоска вроде припадков.

А Светку она любила, это даже слов таких нету, чтобы вам рассказать, как она ее любила. А растила строго и очень уж была неласкова. Жили они бедно, на одну зарплату; ни огорода она не имела, ни куренка, ни поросенка... От людей отгораживалась, только нас с Николаем и признавала за знакомых. Свету от себя ни на шаг не отпускала и не любила, чтобы к ней дети ходили, даже моих, и то не очень привечала. Читает Светку, она на пятом году обучила, книги ей покупала безотказно, а игрушек не признавала никаких. А к работе приучала прямо без всякой жалости.

Я как-то не стерпела и стала ей выговаривать: «Что же ты,— говорю,— с ребенком такая суровая? Ни ласки она от тебя не видит, ни шутки не слышит. И радости никакой не знает. Работа да книжки. Подружки и той у нее нету...» А она говорит: «Я долго не протяну, ей в сиротстве жить. Пусть ко всему привыкает, а подружек ей никаких не надо, пока я с ней. Нам с ней никого не надо».

Николай Михеевич, тот совсем начистоту, ничего не скрывая, высказался:

— Трудно вам с ней, ребята, придется. Девочка она умненькая и незлая, только очень уж запугала ее Наталья против людей. Как накатит на нее эта... болезнь-то, так и начинает она Светланке внушать: «Вот помру я, узнаешь тогда, как без

матери жить. Все тогда вспомнишь, как останешься одна посреди чужих людей...»

Иной раз, поверите, даже слушать жутко. «Лучше бы,— говорит,— я тебя с собой рядом в могилу уложила... Никому ты, кроме меня, не нужна... всем ты чужая, лишняя... обуза тяжелая. Ребенка только родная мать может любить. Чужого ребенка люди из милости, из жалости терпят. И все это — притворство».

Для нее, понимаешь, все люди чужие были. Большой человек, что с нее возьмешь? А Светлану, я так понимаю, придется вам исподволь, тихонько к людям приучать. И к себе тоже, чтобы забыла она материны внушения, перестала им верить. Ну, конечно, терпения вам много потребуется... Особенно вам, Александра Николаевна, как матери. Потому что обходиться с ней надо только лаской...

Лаской... Если бы она ласку-то принимала... Что она ни отцом, ни матерью их не называет, это ничего. Бывает ведь так: осиротеет ребенок, а его старшая, взрослая сестра на воспитание примет.

Вот и Светка, пусть бы росла наместо младшей сестренки. Разве плохо, когда в семье большая девочка есть? Аленку когда еще дожدهшься, а с этой и сейчас уже можно было бы и поговорить, и посоветоваться, и посмеяться.

Вполне возможно, что и полюбила бы ее Шура в конце концов. Все-таки Пашина кровь... А может быть, она такая, потому что чувствует Пашино к ней отношение? Паша-то ведь к ней совершенно бесчувственный. Не может он никак осознать, что она ему кровная дочь. Умом принимает, а сердцем привязаться не может. А ребята, они ведь чуткие на этот счет. Неужели она понимает, что взял он ее только из-за совести... поневоле? Выходит, правильно ей мать-то внушала, чтобы не верила она никому?!

Неправда! Была бы она, как все дети... И Паша бы ее любил. И не стала бы она для нас тяжелой обузой. Из-за проклятого ее характера вся наша семья может прахом пойти. Сколько же такое можно выносить, скрывать от людей, прикидываться?.. Закусив губу, чтобы не дать воли слезам, Шура плотно закрывает глаза. Перед ней, словно на экране немого кино, медленно возникает смуглая, тупая, безглазая маска. Лучше бы капризничала, не слушалась... орала бы... Ну, положим, если она заорет, все соседи сбегутся... Полинка говорит, что и так в народе уже болтают: «Отчего это ребенок такой забитый? Отец по неделе дома не бывает, а мачехе какая вера?

Мачеха...» Из школы два раза уже приходили, и председатель женского совета Ирина Антоновна, как встретит, все только про нее выпрашивает. Ну, конечно, не у матери родной ребенок живет — у мачехи.

Вот скажут люди: «Несчастный ребенок, и отец тоже,— скажут,— несчастный... Принял сиротку, понадеялся на жену, а она для ребенка обернулась не матерью, а мачехой...» Разве можно такому поверить, люди скажут, чтобы к ребенку подхода не найти... Обычно, слушая бабы пересуды, Шура только посмеивалась. На сплетни ей наплевать. А вот суда людского она боится. И не из-за себя, а из-за Павла.

А вдруг Пашу вызовут? С такими вот семейными делами в партком вызывают к Алексею Ивановичу. Господи! Вот позорище-то, вот обида для Паши будет! Он из-за этой своей дурацкой работы вроде слепой, не видит, что у него под носом в семье делается, не догадывается, что из-за милой доченьки про нас люди говорят. Неужели же он не видит, каково мне с ней приходится, как трудно сдерживать-то себя?

Иной раз в глазах даже потемнеет, затрясет всю, а ты все шутишь, улыбаешься, все подход этот самый к ней ищешь. Ну что ей нужно?! Так вот схватила бы ее за плечи, трясла бы, трясла: «Ну скажи же, уродушка ты несчастная, чего тебе не хватает? Чего ты от нас хочешь?!»

Обливаясь слезами, Шура стиснула в зубах угол простыни и уткнулась лицом в колени. Не хватало еще только ребят своим ревом перебудить.

В школу Шура снарядила Светку по всем правилам. Форма шерстяная, коричневая, с кружевным воротничком, фартучки с крыльшками. Пальто осеннее новенькое, и шапочка к нему под цвет. Портфельчик коричневый, со всеми положенными принадлежностями. Все последние дни Шура очень переживала: как Светлана поведет себя в школе? Тем более, что накануне пришлось объяснить ей, что фамилия у нее теперь папина, и ей нужно откликаться, когда учительница Людмила Яковлевна скажет: «Олеванцева Света, отвечай урок!»

Светка не возразила, не заплакала. Но до чего же худенькая, до чего сиротливо поникшая сидела она вечером в своем углу! И Шуре было очень не по себе. Словно это она осиротела, обездолила человека, а теперь вот еще и последнее, фамилию мамину, отобрала... Под первое сентября Шура уснула только перед самым рассветом. Против ожидания Светлана в школе держалась совсем неплохо. Голова у нее почти не загибалась, и смотрела она не на свои ботинки, а на комсомольский

значок, красиво алеющий на белой блузке Людмилы Яковлевны.

А когда Людмила Яковлевна сказала: «Олеванцева Света, подожди ко мне!» — она отошла от Шуры и спокойно стала в паре с Томкой Ушаковой.

У Шуры немножко отлегло от сердца. Такая серьезная, смугленькая, с белыми капроновыми лентами в косах, стояла Светка на линейке.

А когда их строем повели в класс, она оглянулась и впервые, хотя и через плечо, взглянула Шуре в лицо.

С первых же дней Светлана начала таскать из школы одни пятерки. Уже полностью овладев умением разговаривать со Светкой, Шура без труда узнавала о ее успехах.

— Пять? — спрашивала она весело, встречая Светку из школы.

— Да, — тихо отвечала Светка, чуточку скособочась.

— По чтению?

— Не...

— По арифметике?

— Да.

— Устно?

— Не-е...

— Письменно?

Светка кивала и, раскрыв тетрадку, показывала толстую красную пятерку.

Несмотря на частые дожди, с уборкой справились неплохо. И хлебосдачу кончили первыми в районе. Урожай на круг получился не таким плохим, как ожидали. Теперь даже самые отпетые малoverы на опыте убедились, что при хорошей агротехнике и засуха не такой уж страшный враг.

Под конец страды установились ясные, погожие дни, и держались они, пока народ полностью не управился в поле со всеми осенними работами. Даже капусту, и ту успели снять по сухой погоде.

Настроение у механизаторов было приятное. Слово после трудного многомесячного сражения, возвращались они на отдых, на зимние квартиры.

Павел тоже вроде с фронта домой пришел. Приятно расслабленный после бани и сытного ужина, завалился на тахту и, дремотно щурясь на мерцающий в полумраке экран телевизора, блаженно пригрозил:

— Так вот и буду лежать, пока не отосплюсь. Встану, поем и опять на боковую...

Но благодушного настроения хватило ненадолго.

Еще с тех летних дней, когда он привез Светку в свой дом, Павел почувствовал, что товарищи присматриваются к нему с любопытством и уважением. Словно примеривают его поступок к себе: а смог бы и я так-то вот открыто признать свой грех — назвать себя отцом и принять в свою семью совершенно чужого мне до сих пор ребенка?

Нередко даже малознакомые люди доброжелательно спрашивали его о новой дочке, и на все вопросы Павел неизменно отвечал Шуриными словами: «Ничего. Привыкает помаленьку».

Отвечал уверенно, с достоинством, он не сомневался, что Светка действительно помаленьку привыкает.

И вот теперь оказалось достаточным всего несколько дней побыть дома, чтобы понять: Светлана в его семье как была, так и осталась чужой. Шли дни, а она ни разу не подняла на него глаз, ни разу никак не назвала его. Так и жил он рядом с дочерью — ни папа, ни дядя, ни Павел Егорович...

И сам Павел чувствовал себя подле нее скованно и неловко. Он не знал, о чем и как с ней говорить. Не мог же он разговаривать с ней по-Шуриному: лопотать, смеяться, не реагируя на ее глухое молчание, спрашивать и тут же на свои вопросы самому отвечать. На первых порах он еще пытался заставить ее разговариваться.

— Ну, как у тебя в школе дела? — спрашивал, стараясь насколько возможно смягчить свой глуховатый, неласковый голос.

Светлана низко опускала голову и шептала себе под мышку:

— Ничего...

— А как это понимать — ничего? — Павел через силу улыбался, чтобы подавить закипающее раздражение. — Хорошо или так себе? Серединка наполовинку?

— Хорошо... — еще тише выдавливала Светлана.

На этом беседу, собственно говоря, можно было бы считать исчерпанной, но Павел не сдавался.

— Слушай, Света, почему ты себя так ведешь? Ты же большая, должна бы, кажется, понимать, что если тебя спрашивают...

Он говорил, и ему самому было тошно и тоскливо слушать свой нудный, отечески-назидательный голос.

А Светка молчала и все круче загибалась куда-то влево. В конце концов перед глазами Павла оказывалось ее правое высоко вздернутое плечо, ухо и часть щеки.

Иногда он с трудом сдерживал желание взять ее за это упрямое плечо, повернуть к себе лицом и сказать жестко: «А ну, довольно кривляться, стань прямо, подними голову!»

Но всегда в эту минуту рядом оказывалась Шурка с каким-нибудь неотложным делом, или кто-то там срочно вызывал его на улицу... Или еще что-нибудь.

Особенно раздражала его Светка за столом.

Сидела, упершись подбородком в грудь, приткнув к губам ломоть хлеба, не то сосала тихонько край куска, не то по крошечкам незаметно откусывала от него.

Зачерпнув ложку щей, медленно тянула ее к губам и, беззвучно схлебнув, так же беззвучно опускала ложку на стол.

— Светлана, почему ты суп не доедаешь? — спрашивает Павел, с трудом сдерживая раздражение.— Если не хочешь, так и скажи...

Светка еще ниже опускает голову, но тут вклинивается Шура:

— Ну, не хочешь, и не надо...— Она ловко вытаскивает из-под носа Светки недоеденный суп и, раскладывая по тарелкам второе, с ходу начинает рассказывать очень смешную историю, как вчера у Варенцовых поросенок в старую погребушку завалялся.

Первым из-за стола, отдуваясь, начинает выбираться Юрка. — А спасибо где, сынок? — перебив Шуркин рассказ, останавливает его Павел.

— Да-а-а...— обиженно гудит Юрка.— А почему Светка никогда спасибо не говорит?

— А ты за Свету не беспокойся, ты за себя беспокойся,— ласково советует Шура.— Света привыкнет и будет говорить все, что нужно. Ладно, сынок, на здоровье, беги играй!

И она со смехом продолжает рассказывать, как толстая Варенцова сноха полезла за поросенком в старую погребушку, а потом и самое оттуда на веревках мужики вытаскивали.

Не вникая в смешной рассказ, Павел время от времени окидывал Шурку хмурым, недоверчивым взглядом.

Откуда у нее это спокойствие, это терпение? Неужели ее и вправду нисколько не трогает Светкино кособочие, глухая ее, упрямая немота? Все ей нипочем. Крутится, похохатывает. Правильно, видно, мать-то определила: легонький умок.

Наступил день, когда, закончив работу, Павел задержался в мастерской просто так, без всякой надобности. Домой идти не хотелось... Перестало его тянуть домой. Уже несколько дней ни Шура, ни Светка не садились за стол, когда он приходил днем обедать.

— А мы уже покушали,— спокойно сообщала Шура, подавая ему тарелку аппетитных щей.— Света раньше приходит из школы, да и Юрка пробегается, есть просит...

Павел понял, что она Светку кормит отдельно от него, пото-

му что при нем дочь не может есть, выходит из-за стола голодная.

И не стала больше Шура гнать его в воскресенье на дневной сеанс с ребятишками в кино. Не ворчала, что никак он не соберется сделать ребятам катушку-ледянку в огороде.

Ссора получилась очень нехорошая. Слов было сказано немного, но все они были обидные и несправедливые.

— Не пойму я тебя,— раздеваясь поздним вечером в спальне, угрюмо сказал Павел,— чему ты радуешься? Чего ты перед ней зубы скалишь? «Привыкает... привыкает...» Где же она привыкает? Чего ты хвалилась? Она тебя признавать не желает, а ты, знай, похохатываешь. Вот уж истинно: ни бревном, ни пестом не прошибешь...

Шура резко обернулась, губы у нее дрогнули, но плакать она не собиралась.

— Я, конечно, извиняюсь, Павел Егорович,— ядовито усмехаясь, сказала она, бросив за спину тяжелую косу.— Не пойму я глупым своим умишком, на кого это вы рычать вздумали? — Она прищурилась язвительно, но вдруг, вся залившись гневным румянцем, шагнула к нему почти вплотную: — Может быть, это я ее в девках нагуляла, а теперь вот привела да тебе на шею посадила?! Получай подарочек, дорогой муженек, расплачивайся за мои старые грехи. Воспитывай моего найденьша, а я посмотрю, что у тебя получится, какой ты есть воспитатель, годишься ли в отца моей доченьке?

А сам ты кто? Дядя чужой или отец? Ты хоть раз спросил: каково мне с ней? Посоветовал мне, помог чем-нибудь? Ты, месяца не прошло, на стенку от нее полез, а я скоро полгода мучаюсь.

Меня, видишь ли, она не признает, а тебя признает она за отца? И много ли сделал ты, чтоб она в тебе отца признала? Чем ты к ней заботу свою проявил? В кино с детьми сходить, и то не допросишься. Сколько раз просила: сделай ребятам катушку!

И неправда, что она нисколько не привыкает. Это при тебе она не только есть, а даже пошевелиться не может... Ничего ты не понимаешь! Так уж хоть не лезь, не мешай мне, не ломай того, что сделано... Разве я виновата, что она такая?!

— И я не виноват... Внушила ей мать черт те что... Неужели ты не понимаешь?.. Она же ненавидит нас...— угрюмо буркнул Павел, отвернувшись к стене.

Мысль эта, неотступная, неотвязная, не давала Павлу покоя. Что могла Наталья внушить ребенку? Как такую маленькую научила ненавидеть отца? За что? Снова начинал Павел

ворошить, перетряхивать прошлое. Нужно было в конце концов доказать, что нет его вины перед ней, что она самовольно повернула не только свою, но и Светкину и его судьбу куда ей вздумалось.

..В Покровское Павла направили трактористом сразу после окончания межрайонной школы механизации. Это теперь в Покровском и клуб новый с кинобудкой — картины через день показывают, — и школа, и магазин, как игрушечка... А тогда только и было, что старая колхозная контора да почтовое отделение в пятистенном домишке.

Завернув как-то на почту за конвертом, Павел очень обрадовался, увидев в углу, подле окна, небольшую витринку с книгами.

Когда случалось попутье, он брал книги в сельской библиотеке на центральной усадьбе, но такое попутье выпадало не часто, и временами, бывало, хоть волком вой от тоски. И взвось, если читать нечего.

А тут, надо же, такое удобство: зайди на почту и купи себе книжку или журнал, какой на тебя глядит, а с полочки и на две и на три книги можно раскошелиться.

На квартире Павел стоял у бригадира Исаева. Семья была небольшая, трезвая, но очень уж все любили поговорить. А на почте было всегда тихо, никто не шумел, ни вязался с пустяковыми вопросами или разговорами, слушать которые было совершенно неинтересно.

В выходной день Павел являлся на почту, как на дежурство, иногда сразу после завтрака. Долго выбирал на витрине самую хорошую книгу, а выбрав, платил за нее почтальонке деньги и закладывал новопкупку за ремень.

Потом снимал с витрины свежий журнал и усаживался бочком на подоконнике, чтобы не занимать единственного табурета, стоящего у стола для клиентов. И сидел, пока не начинало от голода бурчать в животе. Однажды он пришел после обеда. Взял с витрины журнал и позабыл обо всем на свете. Давно закончился у Наташи рабочий день, давно уже закрыла она входную дверь на крючок, а он все сидел, согнувшись на подоконнике. А когда она негромко окликнула его из-за своего барьера, он, словно спросонок, поднял голову. И встретил ее взгляд, внимательный и дружелюбный. Оказывалось, что она, эта худая и всегда такая неласковая почтальонка, умеет улыбаться.

— Очень уж ты много денег на книги тратишь. — Голос у нее был глуховатый, но доброжелательный и приятный. — Ты же молодой, тебе одеваться нужно хорошо. Ты можешь брать кни-

ги у меня.—Она открыла в барьере дверцу.—Иди выбери, какие нравятся. Прочитаешь, приходи сменяй. Тебе надолго хватит. У меня их больше ста штук.

Квартира у нее была казенная, тут же, при почте. Небольшая комнатка с сенцами и отдельным ходом во двор. Комната казалась полупустой: узенькая железная кровать, небольшой стол в простенке, два стула, кое-какая посуда на кухонной полке. И книги. Везде книги: на столе, на подоконнике, на стульях.

— Вот это все мои, можешь брать их домой, а это казенные для продажи, их можешь здесь читать.

В этом тихом углу Павел прижился на удивление быстро. Уютно потрескивают в печурке дрова, на плите, пофыркивая носиком, закипает чайник. С журналом в руках прикорнула на кровати Наташа, а Павел с книгой вольготно расположился на полушубке перед печкой.

В мирной тишине, в приятном молчании проводили они длиннейшие зимние вечера. Намолчавшись и начитавшись до отвала, усаживались пить чай.

Говорили больше о книгах, о прочитанном. Иногда Наташа читала на память стихи, знала она их великое множество. Раньше Павел не то чтобы не любил стихов, а просто как-то не замечал их.

Мне грустно и легко,
Печаль моя светла...

Наташа произносит эти слова тихо и как-то очень просто, а у Павла холодеет в груди, и ему никак не верится, что это тот самый Пушкин, которого они «проходили» в школе и из которого ему не запомнилось ни одной строчки.

Наташу он называл на «вы», и ни разу ему не пришло в голову, что она хотя и некрасивая и немолоденькая, но все же девушка. И одинокая. А он, холостой парень, ходит к ней и часенько возвращается от нее в ночь-полночь.

О том, что Наташино имя треплет беспощадная деревенская сплетня, Павел узнал от того же Мельникова Николая Михеевича, работавшего в те времена в покровской кузне.

Наташу Мельниковы знали еще по детскому дому, жалели ее и уважали за строгий характер и правильное поведение. После серьезного мужского разговора с Николаем Михеевичем Павел решил, что надо раз и навсегда забыть на почту дорогу. Но оказалось, что это совсем не так просто сделать. Четыре дня он все же воздерживался, торчал по вечерам в старом, полутемном клубе или сидел дома, играл со стариками в подкидного, пробовал побольше спать.

А в воскресенье, едва дождавшись сумерек, крадучись, задыми, огородами, пробрался в почтовый двор и постучал в Наташино окно.

— Глупый ты человек, Павлик,— вздохнула Наташа, закрывая за ним дверь.— Ну какое мне до них дело? Замуж я за тебя не собираюсь, потому что старше я тебя на целых восемь лет и здоровье у меня слабее... Какая я жена? А кто ко мне ходит и с кем я дружу, до этого никому никакого дела нет. Конечно, если ты боишься свою репутацию подорвать, тогда не ходи, а о моей репутации можешь не беспокоиться. И не вздумай заступаться за меня: я сама за себя сумею постоять. Об одном прошу: хочешь ко мне ходить, ходи открыто, не прячься, не крадись, как вор.

Вот как она тогда рассуждала.

А ему в ту пору только пошел двадцать первый год.

И позднее, когда они сошлись, Наташа ни от кого не таилась, не стеснялась, что теперь вот действительно не зря к ней ходил Пашка-тракторист.

В деревне ее, конечно, сильно не одобряли потому, что очень уж они были неровня, но в глаза осуждать Наташу никто не осмеливался, да и Павел был не той породы, чтобы можно было над ним безнаказанно зубоскалить или вязаться к нему с советами да уговорами.

А потом Павла перевели в мастерские на Центральную усадьбу.

Первое время он очень скучал, в выходной старался попасть в Покровское, не один раз даже пешком ходил.

Но подошла посевная, и до конца уборочной он смог заглядывать в Покровское от случая к случаю. И, видимо, за это время они начали друг от друга отвыкать, а может быть, Павел стал стесняться, потому что хотя о женитьбе и думать еще не думал, но Шурка к тому времени уже основательно его захороводила.

И Наташа встречала его все холоднее и отчужденнее.

В последний раз он только постоял с ней на почтовом крыльце. Она даже и зайти его не пригласила. Сказалась больной, и вид у нее, правда, был очень нехороший.

Теперь-то Павел знал, что она в это время была на пятом месяце и уже собиралась с Мельниковыми к отъезду.

Но тогда о беременности ее никто не знал, даже Марине Андреевне она призналась, когда они уже были на Севере.

Конечно, в Шурку он тогда здорово врзался, но скажи Наташа честно о беременности, и он женился бы без единого слова. И Шурку бы оставил, потому что с ней он до женитьбы ничего себе не позволил...

Да разве не предлагал он Наташе расписаться, когда о ребенке еще и помину не было? А она усмехалась:

— Нет, уж лучше не надо. Чтобы ты возненавидел меня за то, что жизнь твою сгубила, молодость твою заела? Через десять лет мне под сорок будет, а ты еще только-только в силу входить начнешь...

Вот как она тогда рассуждала. Здраво, вообще-то говоря, рассуждала.

Так за что же через Светку казнит она его теперь? За то, что не могла унести дочь с собой в могилу? За то, что досталась ее дочь... сопернице?

Так разве в Шурке или в нем дело? Светке жить надо. А как она будет жить среди людей с этаким... кособоким характером?

Как-то Павла по дороге с работы остановил директор школы и долго, подробно, с пристрастием расспрашивал о Светке.

А вечером на огонек зашел председатель рабочкома, чего раньше никогда не случалось. Толкуя с Павлом о том, о сем, он все время искоса поглядывал на Светку, окаменевшую в своем углу над раскрытой книгой.

Уже два раза приходила Куличиха из женсовета — баба въедливая, бесцеремонная. Пыталась втянуть Светку в разговор, смотрела то на нее — жалостливо и тревожно, то на Шуру — укоризненно, с подозрением. Осмотрела все в Светкином уголке, мимоходом тронула рукой постель, проверила, достаточно ли мягкий матрац скрыт под голубым покрывалом, не кладет ли мачеха сиротку на голые пружины.

Прибегала Полинка Сотникова, шипела в кухне на Шуру: — Сама ты виновата, хвалишься, как дурочка, перед бабами: «Светка у меня такая трудолюбивая, такая старательная, такая помощница!» Вот теперь в народе и болтают, что она у тебя и за няньку и за горничную...

Было ясно, что не случайно и не мимоходом появляются все эти люди в доме Павла. Что не одних учителей тревожит, почему его Светка не такая, как все дети.

Видимо, что-то неладно в семье Егоровича... Неспроста же восьмилетний ребенок за полгода не смог привыкнуть к семье... Забитого ребенка сразу видно.

Конечно, отец дома находится мало, он и сам многого может не знать, что творится за его спиной... Главная причина, конечно, не в отце...

В воскресенье, после обеда, пришла Людмила Яковлевна. Светкина учительница, молоденькая, строгая не улыба,

Светка была в кино. В этот день младшие классы под руководством вожатых смотрели «Конька-горбунка».

Лежа после обеда в спальне, Павел слушал, как Шура демонстрирует учительнице Светкино хозяйство.

Видимо, учительница пришла не в первый раз. Рабочий Светкин столик, книжная полочка, кукольный уголок — все это она уже видела.

Интересовало ее совершенно другое. Но Шура ничего не понимала. Она оживленно тараторила, сама себя перебивая смехом, рассказывала, как утром погасло электричество и Светка в потемках надела фартук на левую сторону.

Показывала новые книжки, вытаскивала откуда-то из-под матраца альбом и начала хвалиться Светкиными рисунками.

Людмила Яковлевна сдержанно похвалила и книжки, и краски, и рисунки.

— Скажите, а как Света вас называет? — спросила она вскользь.

— А никак! — рассмеялась Шура. — Не привыкла еще...

— Странно! — Голос учительницы звучал строго и осуждающе. — А как она называет отца?

— А тоже никак!

Павел стиснул зубы, он готов был и уши зажать, чтобы не слышать ее смеха. Неужели эта дурища не понимает, что ее подозревают черт те в чем?

— А не очень она у вас перегружена домашней работой? У вас ведь ребенок маленький?

— В моем ребенке, если на старые фунты переводить, больше пуда живого веса... — фыркнула Шура. — Не то что Светка, я сама-то ее едва поднимаю!

Павел вскочил с кровати, торопливо прошел через залу, накинул телогрейку и вышел в сени.

Чуть не забыл со зла: Андрюха дрель новую просил принести. Павел вошел в кладовую. Тут же послышались голоса, стукнула дверь. Это Шура вышла проводить учительницу.

— Хорошо... Хорошо... — повторила она уже без смеха, видно, все-таки допекла ее Людмила Яковлевна своими вопросами.

Говорить с ней сейчас Павлу не хотелось. Прислонившись к стенке, он переждал, пока она, проводивши гостью, не войдет в дом.

Вбежав с крыльца в сенки, Шура вдруг сдавленно охнула и, зажимая ладонью рот, закричала тихонько, сквозь рыдания:

— Не могу больше! О господи, не могу я больше!

Надо было выйти, обнять ее, увести в дом: она ведь выскокила-то раздетая, в одной шаленке, но у Павла ноги словно одеревенели.

Ах, дурак, дурак! Что же это такое творится?!

Шура ушла в дом. А вечером, когда Павел, проштатавшись более трех часов за поселком, пришел домой, она уже опять как ни в чем не бывало, напевая, суежилась подле плиты, болтала с ребятами, и у него не хватило духу начать с ней большой разговор о Светке. Рассказать, как нехорошо думают о ней люди, что не доверяют ей люди, боятся за Светкину сиротскую судьбу.

Прошла еще неделя. Обычная и вроде бы вполне благополучная. Наступила суббота — самый милый из всех дней недели. Закончена большая субботняя уборка. В квартире даже немного торжественно от особенной, предпраздничной чистоты и порядка.

Бабушка Анфиса Васильевна после бани в благостном настроении, даже на Светку не косится. Сидит с ребятами за столом. Аленка на высоком стульчике рядом с бабушкой. Юрка напротив. Такие они румяные, чистенькие, хорошие после бани!..

Светлана помогала Шуре лепить к ужину пельмени, потом они перемыли посуду, и Светка у кухонного стола перетирала ложки и вилки. На плите закипала в большой кастрюле вода.

Придет сейчас из бани Павел, Шура бросит пельмени в кипяток, и через десять минут готово целое блюдо великолепного сибирского угощения.

Накрывая стол к ужину, Шура рассказывала матери, как они со Светкой вчера потеряли котенка Тузю, рыжего Тузяку:

— Ну, просто обыскались! Света и в подполье лазила и за печку: «Тузя! Тузя!» Я и в кладовке все обшарила... А вот и папка из бани идет... Потом я говорю: «Давай, Света, я тебя подсажу, погляди на шифоньере...»

Дойдя до самого интересного места, Шура мельком взглянула на Светку и замолчала на полуслове.

Прижав полотенце к груди, Светка к чему-то напряженно прислушивалась. На полдневшем лице ее было столько тревоги и страха, что и Шура чего-то внезапно испугалась.

Швырнув полотенце на стол, Светка ринулась в залу. Через мгновение оттуда пулей вылетел Юрка, сжимая что-то в кулаке. Он швырнул под ноги Светке раскрытый «редиккуль».

Светка налетела на него сзади, они ударились о кухонную дверь и вывалились в сени, под ноги входившему Павлу.

Когда Шура выскочила в сени, Юрка с ревом валялся на полу, а Павел, стиснув Светку за плечо, пытался повернуть ее к себе лицом.

— Не тронь ее! — крикнула Шура, на бегу подняв с пола клочья порванной фотографии.

Она оттолкнула Павла и, подхватив Светку, как маленькую, на руки, побежала с ней в залу.

Впервые Светка плакала, как плачут в горе все восьмилетние девчонки: навзрыд, судорожно всхлипывая и захлебываясь слезами.

— Гляди, Свет! Ну ты только взгляни!..— уговаривала ее Шура, складывая на своем колене половинки фотографии.— Погляди, только нижний угол оторванный. Мы с тобой завтра утром, как встанем, сразу пойдем к дяде Мише, к фотографу. Он все подклеит, а потом переснимет, вот увидишь,— еще лучше будет. А одну карточку попросим его увеличить, и будет у тебя портрет, рамочку купим красивую...

Вскинув голову, она прислушивалась и, отстранив притихшую Светку, выскочила в кухню.

— Что ты над ним причитаешь?! — закричала она возмущенно.— Что ты стонешь: «Маленький!.. Маленький!..» Да намного ли он меньше-то ее? Или ты сама не видишь, что он, змей зловредный, с первых дней прохожу ей не дает?

— Да где же это видано?! — ахнула Анфиса Васильевна.— Из-за каких-то картинок кидается на ребенка, как бешеные...

— Не картинка это...— Шура вдруг очень устала, она не могла больше сердиться и кричать.— У нее от матери только и осталось, что эта карточка. Она эту сумочку из рук боялась выпустить и вот не уберегла все же...

— Ну и что? — строптиво поджала губы Анфиса Васильевна, обнимая надутого, заплаканного Юрку.— Значит, теперь из-за ихних карточек убить надо ребенка? Ладно, не плачь, дитенок мой, одевайся, пойдём к бабке. У бабки на тебя никто не набросится...

— Подождите, мамаша! — резко оборвал ее причеты Павел.— Никуда он больше не пойдет. И, пожалуйста, не натравливайте вы детей друг на друга...

Когда оскорбленная Анфиса Васильевна удалилась, Павел не спеша снял с себя брючный ремень, положил его справа на край стола.

— Ну, а теперь объясни мне, зачем тебе эта сумочка пондобилась? — Он притянул Юрку к себе за плечо, сжал между колен.— Не молчи, плохо будет...— И протянул руку за ремнем.

— Паша, не надо! — Держа на одной руке Аленку, Шура другой рукой перехватила ремень.— Не тронь его, хуже сделаешь. Неужели и это тебе непонятно?

Выдернув Юрку из отцовских колен, она дала ему хорошего шлепка и подтолкнула к двери.

— Марш в спальню! И сиди, пока папа не позовет!

В этот момент Аленька, обидевшись, что семейная баталия до сих пор протекает без ее участия, спохватилась и закатила самый большой рев. Она не хотела идти на руки к отцу, выгибалась, дрыгала ногами, визжала...

Пока Шура утихомирила ее и уложила, ребята, наревевшись каждый в своем углу, уснули без ужина.

Павел молча и без всякого удовольствия глотал свои любимые пельмени. Шура тоже молчала. Молчание ее казалось непривычным и странным. Круглое, миловидное лицо ее не было сердитым. Просто о чем-то она очень серьезно, трудно и невольно думала.

Заговорила она только поздним вечером, когда Павел уже лежал в постели. Заплетая на ночь косы, Шура спросила, не оборачиваясь от зеркала:

— Ты, когда брал ее, думал о том, что теперь ты за нее в полном ответе? — Она помолчала, потому что Павел не отозвался. Закинув руки за голову, он хмуро, прищурившись, смотрел в потолок. — Я, ей-богу, не знаю, что мне с вами со всеми делать! — Шура громко вздохнула. — То ли со Светкой возиться, то ли тебя к ней приучать? Куклу девочке купить и то ты сам не догадаешься, все тебе подсказать надо. А она должна видеть, что все это от тебя идет, от твоей заботы.

Шел ты как-то с ними из кино. Я гляжу: Юрка на правой руке у тебя висит, а Светка сбоку, сзади плетется. А почему бы тебе другой-то рукой ее за руку не взять? Не хочет? А ты этого не замечай. Ее к ласке-то силком приучать приходится.

Раньше ты хоть Юрке внимание уделял, а теперь из-за Светки и на него не глядишь, а сегодня еще и ремнем замахнулся. А он злится и на ней все вымещает.

Сейчас главное всего нам, чтобы они между собой подружились. Я вот тебя сколько раз просила: возьми ребят, поди сделай с ними катушку. Надо, чтобы они больше вместе находились и чтобы ты сам с ними был.

У Юрки лыжи без ремней валяются, а у Светки и совсем нет никаких. Я тебе сказала, ты покосился да промолчал...

Слышала я одну такую пословицу, что «от немилой жены — постылые дети». Только я считаю, что это в корне несправедливо. Завели вы ее, конечно, сдуру, ну а она-то при чем?

И напрасно ты себе в голову вбиваешь, что она что-то Светке внушала против тебя. Ты мне поверь. Светка про тебя раньше ничего не знала. А несуразная она такая получилась потому, что характером-то выродилась вся в тебя, а мать ей досталась больная, ненавистница. Рядом с такой и взрослый человек смеяться бы разучился и разговаривать ствык. Если разобрать-

ся, так она и при живой матери вроде сироты была. А теперь при живом отце немилая дочь. Ты думаешь, она не понимает, что ты ее не любишь? Она, Паша, очень умненькая, она все понимает.

Опершись на локоть, Павел изумленно вглядывался в лицо Шуры. Вот вам и Шурка! Вот вам и легонький умок! Он не мог оторвать взгляда от кругленького, простоватого, милого Шуркиного лица, от невысокого чистого лба, на котором совсем, видимо, недавно прорезалась незнакомая Павлу вертикальная морщинка.

— Ты понимаешь, Паша...— Шура говорила медленно, раздумчиво, словно сама удивлялась своим словам.— Ее ко всему приучать надо. Есть она при людях не может. Я сначала тоже думала, что она характер свой показывает, назло делает, капризничает. Нет, Паша! Я потом, как научилась в ней немножко разбираться, вижу: она и сама себе не рада. Уж я чего ни придумывала, пока приучила ее при мне есть как следует быть! Вот почему я с ней отдельно от тебя стала обедать. Не может она еще при тебе пересилить себя. Ты уж подожди пока. Она ведь даже в куклы играть не умела, подружек у нее никогда не было. Как мы с Полинкой к девчонкам ее приучали, смех один, ей-богу!

Подговорили Полинкину Раиску и Зиночку Ильину, вот те после обеда и приходят к нам. Я Светке кричу: «Света, к тебе гости, иди встречай!» А сама Ленку в охапку. «Играйте,— говорю,— девочки, а я к тете Поле платье кроить пойду. Света, ты девочек,— говорю,— чаем угощай, в буфете мед, печенье, конфетки...»

Сидим мы с Полинкой, болтаем, а самим не терпится поглядеть, как наша Светлана с гостями обходится. Полина пошла будто за ножницами. Вернулась, хохочет. «Кукол,— говорит,— за стол усадили. Светка вся разгорелась, суетится, хлопочет, на стол собирает...»

Теперь девчонки, как в школу идти, заходят за ней да и к себе ее уводят играть. Раиска говорит, что с ними она разговаривает и даже смеется иногда... Она, Паша, и к нам привыкнет, потерпеть надо только.

И еще я так думаю: хватит нам переживать и от людей таиться. Мне другой раз в голос бы реветь, а я выбадриваюсь перед людьми, только бы поменьше Светкины ненормальности в глаза людям кидалось. Хорошие люди нас всегда поймут и помогут, а из-за дураков и переживать нечего. Верно, Паша?

И еще я думаю, Паша, все-таки должен ты ее полюбить. Ты только приглядишься, до чего же она на тебя и на Юрку походит. Ты даже не представляешь, какая она способная, какая у нее

память острая! А как ее учительница хвалит! И знаешь, Паша, она в шашки играть умеет, честное слово! Вот бы тебе с ней поиграть, а?

«Умница ты моя...» Вслух этих слов Павел, конечно, не сказал. Он и подумал-то это, возможно, каким-нибудь другими словами. Он молча привлек ее к себе и кончиками пальцев острожно, благодарно разгладил морщинку над переносьем, такую лишнюю на ее милом лице.

Шура не зря сказала Павлу, что, как-никак, а Светка помаленьку все же начинает привыкать.

В этом вопросе надо было брать во внимание, что, кроме вредного змея Юрки, на свете жила еще Аленка. При людях Светлана к Аленке не подходила, словно той и на свете не было. Но по некоторым признакам Шура догадалась, что между сестрами возникли какие-то тайные отношения. Выдавала тайну Аленка.

При появлении Светланы она начинала трепыхаться от радости, улыбалась, тянула к ней руки, а потом ревела, когда Светка проходила мимо, не взглянув на нее. А Аленка начинала стоять дыбки. Она была толстая и лентяйка. Передвигаться предпочитала на четвереньках. Каждый понимает, насколько это значительный, насколько серьезный этап в жизни человека — научиться стоять дыбки.

— Свет, гляди, гляди! — восторженно зашипела Шура за Светкиной спиной. — Ленка стоит! Смотри скорее!

Светка стремительно обернулась на стуле. Темные брови изумленно и радостно вскинулись вверх, дрогнули губы, но улыбнуться она не успела — опомнилась и, словно померкнув, медленно отвернулась к столу и склонилась над своей тарелкой.

Аленка шлепнулась на пол. Шура подхватила ее на руки, потискала, помяла и снова поставила на ножки, но уже по другую сторону стола, чтобы Светка могла видеть ее, не оборачиваясь.

Аленка стояла дыбки честно, ни за что не держалась.

Дыбки-дыбошки, стоят наши ножки...—

Лучась и сияя, пела Шура, присев перед ней на корточки. Крыльями раскинув руки, чтоб в любое мгновение подхватить, не дать упасть, испугаться, она ворковала, собирая всяческую милую чепуху:

А мы на эти ножки купим сапожки,
Ножки в сапожках бегут по дорожке...

А через несколько дней у Шуры разболелся зуб. Днем, усыпив Аленку, она с грелкой прилегла на тахту. Сквозь дремоту она слышала, как осторожно ходит в кухне, вернувшись из школы, Светка... Потом захныкала Аленка в спальне.

Нужно было вставать, но зуб пригрелся, боль притихла, и не было сил оторвать голову от теплой грелки. Через силу стряхнув сон, Шура приподнялась, но тут же снова приникла к подушке.

В спальне тоненький, нежный незнакомый голосок напевал:

А мы на эти ножки купим сапожки,
Ножки в сапожках бегут по дорожке .

И тот же голосок сказал внятно, с любовной строгостью:

— Тихо, Аленка, тихо! У мамы зубик болит... Не шуми, дай маме поспать.

Через полчаса Шура, громко зевая, прошла, шаркая ногами, в кухню, а когда ровно через две минуты вошла обратно в залу, Светка уже сидела в своем углу над раскрытой книгой, а в спальне в одиночестве хныкала Аленка.

Купая в кухне Аленку, Шура не раз ловила внимательный, любопытный взгляд из-за дверного косяка.

Одной ребенка купать, конечно, неудобно, и однажды Шура призвала на помощь Светлану:

— Будь добренькая, помоги! Никак с ней, с толстухой, одной не управиться. Возьми кувшин и лей ей на головку, лей, не бойся! Теперь на спинку. Ну, вот мы и помылись. Вот какие мы голенькие, чистенькие, вкусенькие...

Шура положила завернутую в простыню Аленку в кроватку и вдруг всплеснула руками.

— Батюшки, молоко-то! — Она промчалась в кухню, где на плите стояло в кастрюле молоко на вечернюю лапшу. Помешивая еще холодное молоко, она крикнула из кухни: — Света, вытри, пожалуйста, Аленку. Рубашку надень, а сверху кофточку. Только на руки не вздумай ее брать. Надорвешься!

В этот вечер Шура переделала в кухне кучу дел. Юрка был у бабушки, Павел задержался на работе.

Света унесла в спальню несколько своих книжек — читала Аленке сказки, пела что-то потихоньку... Но не успел Павел переступить порог кухни, как Светка, схватив в охапку книжки, метнулась из спальни и через минуту сидела за своим столом над раскрытой книгой, а в спальне обиженно хныкала Аленка.

С тех пор между Шурой и Светкой установилось негласное соглашение. Когда они были одни, Шура просила.

— Света, поиграй с Аленкой.

И Светка, забрав книжки и кукол, шла в спальню.

А потом пришла такая минута, когда Светка сама, скосивши глаза в угол, спросила:

— Я уроки сделала... Можно мне поиграть с Аленкой?

На следующее утро после драки Шура со Светкой отправились к фотографу. Оставив Светку за воротами на скамеечке, Шура пошла узнать, дома ли дядя Миша, фотограф. Вскоре Светку позвали в дом.

Осмотрев порванную фотографию, дядя Миша внимательно и ласково взглянул на Светку и сказал, что беда вполне поправима, через несколько дней будет готова новенькая карточка и рамка для нее найдется подходящая, бери и ставь сразу на стол.

От дяди Миши они пошли на рынок, походили по магазинам, купили двое санок на железных полозьях: синие — для Светки, красные — для Юрки.

А когда вернулись домой, оказалось, что Павел с самого утра стащил Аленку к бабушке и успел сделать две небольшие деревянные лопаты.

Наскоро пообедав, всем семейством вышли в огород, потому что катушку решили делать в огороде. Получался очень хороший разгон с уклоном до самого плетня.

Помочь Павлу склотить катушку и приладить к ней два наклонных бревна пришел Семен Григорьевич, Раискин отец, потом подошли с лопатами соседи Саша и Сергей Иванович Бороздины. Конечно, сбежалась вся соседняя ребятня.

Светлана и Юрка трудились до седьмого пота. Очень уж хо-роши были новые лопаты, да и отец, не давая зря болтаться, по-крикивал:

— Света, Юра! Берите вон эту плашку, тащите сюда!

— Света, помоги Юрке ту глыбину вниз спихнуть... А ну-ка, дочка, помогай: держи доску за тот край, я прибивать стану, а ты, сынок, встань для груза посередине.

Уже под вечер Саша сбегал в гараж, притащил длинный резиновый шланг. Через форточку окна его протянули в кухню к водопроводному крану. На ночь катушку залили водой. Три вечера Павел после работы трудился с ребятами в огороде. Совместными усилиями сделали широкие ступени, по которым можно было без труда взбираться с санками на площадку.

Нарастили снеговые борта на площадке и на самой катушке, чтоб никто не мог свалиться сверху в снег. На несколько рядов поливали и замораживали спуск и ледяную дорожку. Лед ста-

новился все толще, все прочнее, и, наконец, на пятый день красавица катушка была готова.

Только поздним вечером удалось загнать ребят по домам. Когда Светлана и Юрка, полусонные, разомлевшие после горячего ужина, добрались до постелей, Павел негромко, сдерживая усмешку, сказал, покосившись на Шуру:

— Светка сегодня полезла в снег за жердинкой, а Юрка как заорет: «Светка, не лезь, там яма, провалишься!»

— Ой, Па-ша!..—Шура глубоко, длинно вздохнула и, на мгновение прикинув к Павлу, умильно заглянула ему в потеплевшие глаза.— Пойдем, Пань, скатимся хоть по разочку, ладно? Ты одевайся, а я сбегая Полинку с Семеном кликну и Сашку...

Обновили катушку на славу. Согнувшись вдвое, с разбойничьим посвистом пролетал по ледяному раскату Сашка. Упоенно визжали, барахтаясь в сугробе, Шура с Полинкой. Негромко гоготал, скользя мимо них на собственных салазках, Павел. Слово в бочку ухал Семен, падая животом на кусок старого линолеума.

— Что я тебе скажу, Паша...— Собирая Павлу ужин, Шура мимоходом плотно прикрыла дверь в залу.— Я еще на той неделе к Екатерине Алексеевне ходила. Она хоть и на пенсии, а в школе часто находится, все молодым учителям помогает. А Светкина Людмила Яковлевна с ней в одной квартире живет. Я, Паша, Екатерине Алексеевне все как есть рассказала. Ты знаешь, как она переживала и за Светку и за нас с тобой! А тебя она прямо ужасно хвалит... На лыжах-то ты с ребяташками мимо ихнего дома ходишь, и в кино она тебя с ними видела. А что ты Светку в шахматы играть обучаешь, я ей сказала. А меня она похвалила, что догадалась я: пошила ребятам лыжные костюмчики одинаковые. «Их,— говорит,— даже не отличишь, как братишки-двойняшки». А еще, знаешь, что она мне сказала? «Вот,— говорит,— как можно в человеке ошибаться. Росла ты на моих глазах, и учила я тебя четыре года, а какая ты есть на самом деле, не разглядела».

Подперев кулачками подбородок, Шура смотрела в спокойное, по привычке чуть прихмуренное лицо Павла.

— Вчера встретила Людмилу Яковлевну, хорошо она так, ласково со мной поговорила. «Знаете,— говорит,— Шура, я Свету в рисовальный кружок к Игорю Сергеевичу записала. Она хотя и мала еще, но он посмотрел ее рисунки и принял». А директор меня Александрой Николаевной взвеличал.— Шура фыркнула в ладошку.— Подергал меня вот так за руку и гово-

рит: «Ничего, Александра Николаевна, все образуется. Мужу привет». Я глаза вытаращила, а он повернулся и пошел.

К новогодней елке готовиться начали загодя, чтобы успеть побольше наделать игрушек. В лесу у Павла и ребят уже была облюбована елочка — загляденье! Под самый потолок встанет она в зале, игрушек на нее пойдет уйма. Если все покупать, никаких денег не хватит, да свои-то игрушки намного интереснее.

Целые вечера у Олеванцевых толклись ребятишки: резали, клеили, красили, галдели, хохотали, ссорились и мирились.

Часто забегала Людмила Яковлевна, приносила еще один образец новой игрушки. Хвалила и браковала готовую продукцию. Чаще других, нахмутив красивые брови, задерживала в руках Светланины самоделки. Рассмотрев, говорила строго, словно в классе на уроке:

— Вот посмотрите, дети, как Светлана сделала эту корзиночку и какими красками ее раскрасила. Это очень красиво, правда? Ты, Света, покажешь ребятам, как нужно разрезать бумагу, чтобы получилась такая красивая корзиночка?

— Хорошо, — тихо отвечала Светка, залившись жарким, смуглым румянцем. За последнее время лексикон ее обогатился еще пятью-шестью словами.

— Пап!! — радостно вопил Юрка, оглянувшись на стук входной двери. — Чего ты долго?! Мы тебя ждали-ждали... Картон такой толстый, мама говорит: «Не трогайте, папа придет и нарежет».

Павлу очень хотелось поваляться часок с книжкой или подремать до ужина перед телевизором, но Шура делала страшные глаза, и он, крякнув, покорно присаживался к столу и брал в руки ножницы и кусок картона.

Как-то мимоходом забежала Людмила Яковлевна. Ребята возились на катушке, Павел подшивал Шурины валенки: новые в этом году купить не пришлось. Он отложил валенок в сторону и поднялся, чтобы помочь учительнице раздеться.

— Нет, нет, Павел Егорович, я на минуточку. Новость вам принесла хорошую. — Людмила Яковлевна присела к столу, расстегнув меховую шубку. — Сегодня к моим детям приходила в гости Екатерина Алексеевна. Она рассказала ребятам о нашем совхозе, о передовиках производства, об ударниках коммунистического труда. Многие из них в детстве были ее учениками, но

более подробно она рассказала о вас, Павел Егорович. Как вы работаете, учитесь, что вам первому было присвоено звание ударника и вообще, что вы очень хороший человек. Я смотрю на Светлану — она вся раздумянилась, слушает, не мигая, и глаз с Екатерины Алексеевны не сводит.

А Екатерина Алексеевна обернулась к ней и спрашивает: «Олеванцева Света, скажи, пожалуйста, Олеванцев Павел Егорович тебе родственник?» И, вы представляете, Света встала, смотрит ей прямо в глаза и гордо отвечает: «Это мой папа!»

Следующую новость принес Павел.

— Светка вчера из-за Юрки с Гошкой Щелкуновым подралась,— сообщил он, моясь после работы под умывальником.

— С Гошкой? — ужаснулась Шура.— Так он же вдвое больше ее и годами и ростом!

— То-то и оно, что и больше и сильнее. Семен со своего двора видел. Светка крыльцо подметала, а Гошка погнался за Юркой, Юрка во двор, и тот за ним, сбил Юрку с ног. Юрка заорал, а Светка, Семен говорит, как тигр, налетела на Гошку, да веником его по морде. Гошка завыл и бежать, а Светка Юрку подняла, снег отряхнула, платочек из кармана достала и соплю ему вытирает.

Павел повесил полотенце и вдруг раскатисто захохотал.

— Нет, это надо же, молодчина какая! Этакого дылду веником по морде!

Возвращаясь с дальней фермы на мотоцикле, Павел на крепченском ветру застудился и получил какое-то нехорошее воспаление в правом ухе.

Не спеша вызревая, нарыв не давал покоя ни днем, ни ночью. За несколько дней Павел осунулся и почернел, словно месяц в тифу валялся. Болела вся правая сторона головы: ни порошки, ни уколы, ни добрая доза водки не могли ослабить неистовой боли.

Приехавший из города врач выписал новое лекарство, но его не оказалось в сельской аптеке, и Шура, утащив Аленку к бабке, помчалась за лекарством в город.

Павел отправил Юрку играть и, оставшись один, дал себе полную волю. Ходил по дому, стиснув голову руками, стонал и ругался сквозь зубы. Наконец, пьяный от боли и лекарств, задремал, плотно прижавшись к подушке больным ухом. Слышал сквозь сон, как хрипло стонет и скрипит зубами во сне.

Разбудила его не боль. Кто-то словно окликнул, позвал его издалека. У кровати стояла Светка, прижимая к груди закутанную в полотенце грелку.

Она смотрела ему в лицо, страдальчески сморщась, в испуганных глазах стояли слезы.

— Что ты, Света? — хрипло спросил Павел.

— Вот...— Светка положила на подушку грелку.— Горячая... Остынет, я еще налью...

Может быть, от благодатного тепла, сразу приглушившего боль, или от неожиданной радости у Павла вдруг горячо повлажнело под веками, он торопливо прикрыл глаза.

— Спасибо, дочка!.. Сразу легче стало. Не уходи... Посиди со мной.

Он хотел протянуть руку, привлечь ее к себе, но она уже отошла. Присела у его ног на краешек постели, притихла, как серый нахохлившийся воробьишка. И все-таки она была рядом. Большая дочка, заботливая, умница... И горячая грелка, приглушившая боль, благодатная дремота... И совсем рядом тихое Светкино дыхание...

Больше недели бесчинствовала дикая метель. Перемело все дороги, на окраине занесло целую улицу небольших домишек, и их миром ходили откапывать из-под трехметровых сугробов.

Мужики на работу ходили артелями, чтобы по дороге в мастерские или на ферму не сбиться с пути, не утяться в степь на верную погибель.

Несколько дней не работала школа. Как всегда, начали возникать страшные слухи, что на восьмой ферме не вернулась с дойки пожилая доярка Варя Шитикова, что потерялись в степи три девятиклассника, ушедших будто бы без спроса домой из школьного интерната.

Точно никто ничего не знал. В степи повалило телеграфные столбы, связь с фермами нарушилась. От неизвестности на душе становилось еще более тревожно и жутко.

Павел вернулся с работы, когда уже совсем стемнело. Долго выбивал снег из одежды, потом отогревался у горячей плиты. Был он в тот вечер угрюм и еще более, чем всегда, молчалив.

Юрка рано завалился спать. А Светка все сидела с книжкой в кухне, съезжив худые плечи, прислушиваясь к завыванию и стонам вьюги, к жалобному скрипу ставен. Казалось, вот еще один порыв, и ставни с грохотом сорвет с окон, со звоном посыплются выдавленные ветром стекла...

Потом где-то бурей перехлестнуло провода, и погас свет. Стало совсем тоскливо и жутко. Спать легли при свечке.

Шура укрыла Светку сверх одеяла своей шубейкой, подоткнула со всех сторон, чтоб не поддувало, и, забрав свечку, ушла в спальню.

Долго не спалось. Лезли в голову какие-то старые, забытые страхи и тревожные, беспокойные мысли. Как будто забыла она сделать что-то очень нужное, важное... Или сделала что-то совсем не так, как надо.

Ей казалось, что уснули они всего на какую-то одну короткую минуту.

Вскочив с постели и нашарив трясущейся рукой спичечный коробок, Шура торопливо зажгла свечу. В ушах все еще звучал крик — тоненький, острый, полный ужаса Светкин крик...

Господи, как могла она, дура окаянная, оставить ребенка в такую ночь одного в темной комнате?!

Светка босая, белея рубашонкой, стояла на пороге спальни. Она повалилась на протянутые к ней Шурины руки, вцепилась судорожно в Шурины плечи — такая легонькая, маленькая, глупая.

— Ты моя, моя доченька...— заворковала Шура успокоительно.— Вот и все... И нет ничего. Заберемся мы сейчас к папке под крыло и будем себе досыпать, не страшен нам никакой буран.

— Что это ты, дочка? — загудел Павел, принимая Светку из Шуриных рук.— Ты же у меня молодчина, смелая... Ну, ну, ложись, будем спать... Вот так...

Великое это дело — после такого страха лежать на широком, теплом отцовском плече.

Светка еще раз тяжело, навзрыд всхлинула и, закрыв глаза, робко, неуверенно положила руку на грудь отца.

БАБА ГРУНЯ

Живут в нашем поселке три брата Добрынины. Все трое уже не первой молодости. Семейные, домовитые, солидные. В поселке братья славятся не только тем, что портреты их редко сходят с доски почета, но больше того, какой-то особой, редкостной дружбой между их семьями.

Сами братья, не обсудивши на семейном совете, никакого дела не начинают, сношеницы живут душа в душу, ребята из трех семей нежно друг к другу привязаны. Если не знаешь, так и не разберешь, которые из них родные, которые двоюродные.

На Оби, еще севернее Колпашева, как у нас говорят, на низу, жила мать братьев Добрыниных Аграфена Романовна, для ребятшек и для добрых друзей — баба Груня. К сыновьям она наезжала только гостить, а постоянно жила у старшей вдовой дочери, Анны.

Года полтора назад пятидесятитрехлетняя Анна скоропостижно умерла.

— Заплуталась, видно, смерть-то, заплуталась. Шла по мою душу, а Анюта ей и подвернулась. Померла моя Анюта — дай бог так-то любому из нас. Не болела, не мучилась, не надоела никому. Пришла из бани, надела все свеженькое, глаженое; волосы расчесала, коса у нее, как у молодой, здоровущая была; выпила квасу кружечку и прилегла перед ужином отдохнуть. Задремала, да и не проснулась боле...

Рассказывая мне о смерти Анюты, Романовна не плачет и не то чтобы завидует, а как-то радостно и светло удивляется: надо же так хорошо, так мило умереть!

На похороны Анны ездили все братья с женами. Перед отъездом держали семейный совет: у кого теперь матери жить, где ей будет удобнее? Антон и Михаил Яковлевичи жили в казенных, благоустроенных квартирах; у старшего, Петра Яковлевича, был свой старый, но теплый и вместительный домишко с садиком и огородом на берегу речки.

Порешили не спорить: пусть мать сама выбирает.

Мать решила по справедливости: пока еще ноги носят, гос-

тить у сыновей по очереди и не очень подолгу, чтобы успеть на всех наглядеться, нарадоваться...

— И чтобы шибко-то не надоест никому...— добавляет она, тихонько посмеиваясь.

Но штаб-квартирой бабы Груни стала все же маленькая, об одно окно, уютная боковушка в доме Петра.

Все было хорошо, только никак не спалось ей на кровати, на пружинной сетке. Привыкла она на старости лет к Анютиной горячей русской печке. В воскресенье ребята с утра увели бабу Груню к Антону смотреть телевизор, а к Петру заявили братья с хорошим печником и к вечеру сложили в боковушке великолепную лежанку, широкую, удобную, с топкой из кухни.

Трудно придумать местечко более уютное, настолько располагающее к хорошему, задушевному разговору.

Особенно если за окном мороз градусов на тридцать пять или пурга метет, да такая, что, пока перебежишь через улицу на бабы-Грунин огонек, исхлещут тебя, иссекут острые, жгуче-ледяные струи.

Взберешься на теплую лежанку и только что не мурлычешь от удовольствия.

Для меня посидеть вечер на Груниной лежанке, послушать ее рассказы о пережитом, о старине — словно в любимом Малом театре побывать.

— Лизавета Кондрашина даве приходила... Ревет дурнинушккой...— Шумно вздохнув, баба Груня прилаживается поясницей поплотнее к горячим кирпичам обогревателя.

— Лариска ихняя, которая на булгахтера учится, привезла из городу парнишку: «Знакомьтесь, папа с мамой, это мой муж». Лизавета ревет, ругает нынешних-то детей: «Ну, ладно, пуцай ей не нужно родительское благословение, так хоть скажись, бесстыжие твои глаза, посоветуйся с матерью-то. Нет, говорит, все же раньше такой страмоты не было...» Я ей говорю: и раньше всякое бывало...

Баба Груня надолго замолкает. Я сижую, затаив дыхание. Вот смешливо дрогнули по-стариковски запавшие губы, сбежались к глазам веселье, хитрящие морщинки.

— Еще и не такое раньше-то бывало! Ты вот послушай, я тебе расскажу.

Как я замуж выходила

Тятя, покойник, у нас шибко суровый был. Я так полагаю, что сердце-то у него чугунное было. Мамушку он прямо при нас сколько разов чуть не до смерти убивал. Взгляд у него был

косой, исподлобья. Иной раз глянет на тебя искоса, этак через плечо, сердце-то так и покатится. Боялись мы его.

Старших сестер, Анфею, Агашу и Маню, он замуж отдавал молоденьких, всех в богатые дома. К женихам шибко-то не приглядывался, выбирал — был бы богат да чтоб семья не большая. Чтоб зять после стариков один хозяином в дому был.

Из нашего дома невест нарасхват брали. Девки в нашей природе все были здоровые, красивые, смиренные. На работу жадные и сызмальства ко всякому рукоделью приучены.

Братку Афоню тятя тоже на девятнадцатом году женил. Брали за него девку-перестарку. Ей тогда не менее двадцати двух годов было. Толстая да рябая. Зато одна дочь у отца-матери, и все богатство за ней в приданое идет. Ну, братку-то мы не шибко жалели, весь он вылитый в тятю уродился: жадный, глаза завидушные, руки загребушные. Так что родство у нас было богатое, все сватовья, если по-теперешнему сказать, кулаки были.

Ну вот сравнялся мне семнадцатый годок — пришел и мой черед. Жениха для меня тятя нашел верстах в сорока от нашей деревни. Тоже один сын у отца. Хозяйство богатое. Трех годовых работников держали. К тому времени о богатстве-то не по земле стали судить, не по скоту, а по механизации, по машинам то есть. У моего-то женишка, не считая жнеек, веялок всяких, шерстобитка была и молотилка с конным приводом. И была та молотилка одна на три деревни. В ту пору хлеб-то редко сразу молотили. За хорошие погоды жнут да в клади кладут, а потом молотят, когда время выйдет. У некоторых клади-то по два-три года стояли. Так что моему женишку для его молотилки работы всегда хватало. В очередь к нему мужики становились, в пояс кланялись, ну, и денежку огребал он, конечно, добрую. Вот и подумай сама, как такого козыря мог тятенька мой упустить, если у него еще одна девочка незапроданная бегала.

Приехал жених меня посмотреть, а мне хоть в петлю головой, до того он мне постылый.

Уехали сваты, я отцу в ноги: «Тятенька, родненький, не губи, не отдавай.— Сама реву, свету не вижу. Косишей по полу мету, сапоги его целую.— Не отдавай,— кричу,— тятя! Богом тебя молю!» А он рассердился да сапогом меня в щеку и пихнул. Тут я как взвилась! Видно, тятенькиного-то характера и мне трохи досталось. Куда и слезы вдруг подевались? Вскочила я на порог. «Не будет,— кричу,— по-твоему! Задавлюсь, а за твоего гундосого не пойду! Все говорят, что у него семья вся гнилая. Ты няньку Анфею загубил, Агаша с Манькой через тебя жизни не рады... Не пойду, убивай лучше сразу!»

Он меня только два раза и успел огреть, вырвалась я — и на берег топиться. Река у нас не так чтобы быстро глубокая, но быстрая и порожистая, а пониже, за деревней, омут. Берег высокий, хлобыстнешься с яру о камни, а дальше уж не твоя забота, подхватит струей, закрутит и уволочет в омут.

А добрынинский дом на берегу стоял, чуток на отшибе от других домов. Яша-то у них тогда уже один оставался. Девки замуж повыходили, большак Тимофей в отдел ушел. В деревне Яков из всей холостежи самый старый был. На японской ему воевать не пришлось, а действительную отслужил. Жених он был завидный, но не для молодых девок. Родители его не неволили, а он все не мог парочку свою найти. Двор у них был не очень богатый, но справный. В деревне их уважали, очень степенно они жили, к людям справедливые, в семье дружные, непьющие... Вот Яша-то и перехватил меня на берегу. Видит, что я вроде не в своем уме, заломил мне руки-то за спину, держит, а я рвусь и слезами вся обливаюсь. А он не выпускает.

— Дура,— говорит,— ну, чего ты? Кто тебя?

Усадил на камень, сам рядом на коленко встал, вытянул из-под полушубка рукав рубахи да и обтер лицо мне рукавом-то своим.

— Кто тебя, Груняшка? Ну, скажи, не бойся. Да не реви, я тебя никому не дам, не реви.

И до того он мне тогда мил показался! Всея родни роднее. И, видно, совсем я тогда с горя да со страху очумела и стыда девичьего лишилась. Всплеснула ладошками, сползла с камня-то на коленки, гляжу ему прямо в глаза.

— Яшенька! — говорю.— Возьми меня замуж за себя, Христа ради! Я тебя любить буду больше солнышка, слушаться буду. И не покупай мне ничего, я и в холщовом прохожу. Яшенька, я работать буду со света и до темна. Ты, может, не знаешь, какая я рукодельная? Я и на машинке шить, и вышивать, и филей вязать — все умею. Я, Яша, скатерки в двенадцать ничинок ткать могу. Ты не гляди, что я маленькая, я сильная! Я как примусь жать, никто за мной не угонится...

Стоим мы этак-то друг перед другом на коленках, я причитаю, улещаю его, вся слезами изошла, а он слушал-слушал да как захохочет:

— Ой, Грунька! Ну дура, ну дура! Да ты чего это придумала? Разве тебя отец за меня отдаст?

Романовна всхлипнула и, смеясь, вытерла концом платка заплаканное лицо.

— Вспомнить только — со смеху помрешь. Ну опамятовалась я чуток, рассказала Яше.

— Тятя,— говорю,— меня в Кирюжино за гундосого просва-

тал. Забьет он меня и все равно отдаст, так уж легче к одному концу: головой об камень — и в омут.

Вижу, Яша с лица потемнел, уйдет, думаю, отступится, тогда уж мне и вправду не миновать топиться. А топиться таково-то страшно, холодно, хошь бы еще летом, а то ведь снежок уже перепадает, вода-те студеная.. Я опять за свое.

— Яша,— плачу,— пожалей меня, женись, миленький ты мой! Я тебе обузой не стану. Велишь, я в город уеду, в няньки к господам наймусь, а деньги все до копеечки тебе отсылать буду, али в скиты меня к хрёсыньке увезешь. Я бы сейчас к ней убежала, да тятя все одно меня найдет и отберет, еще и хрёсыньку всяко избидит. Пока замуж не выйду, надо мной тятина власть, нигде мне от него спасенья не будет.

Плачу я, прошусь за него и вижу, что шибко ему меня жалко. Еще надбавила, а он сморщился весь, сам только что не плачет и говорит:

— Дура ты, Грунька, ей-богу! Я бы тебя взял, ладно, да не отдаст же он тебя...

— А ты, Яша, убегом меня уведи. Я сейчас домой пойду, прикинусь, что покорилась, а вечером соберу в узел самое свое ношебное и прибегу к тебе.

— А ты думаешь, мои старики пустят нас в избу, если я тебя без благословения приведу? Да никогда мне отец не позволит против родительской воли девку взять. Придумала же — убегом!

— Ладно,— говорю,— Яша. Иди, коли так, не мерзни.

— А ты?

— А чего же я? Мне идти некуда.

Тут Яша рассердился, начал меня ругать, домой гонит... А я реву и за рукав за его держусь.

Ну, вечером, так уже к полуночи, прибежала я к нему. Он меня в проулке ждал. Провел тихонько в сенки, залезли мы на вышку. Гляжу, там постеля приготовлена, ужин на полотнце: сало, мед, молока кринка. Потом мне свекровушка рассказы-вала. Отца дома не было, Яша пришел сам не свой. Крутился-крутился да все матери-то и рассказал. Она ему говорит:

— С чего это надумал ты? Не ходили вы с ней, не любилсь... Да ты же, неженяха, старьй для нее. Девчонка она молодая, глупая, убежит сдуру, а потом будет тебя корить, что сбил ты ее, молоденьку, с пути, развел с отцом-матерью. А наш отец? Возьмет да и погонит нас всех троих из избы...

Ну, сколь ни охала, ни ругалась, а уговорил ее Яша. Она и надоумила на вышке-то нам отсиживаться, пока она отца не огладит, не уговорит нас простить. И постелю сама нам готовила и харчишками все время снабжала.

Яша днем как ни в чем не бывало в избе находится, справляет по хозяйству что положено, а вечером идет к дружку своему, к Митьке Большакову, он как раз ногу сломал, а жили они с матерью со вдовухой одни, вот Яша-то и идет с ночевой, вроде как к больному товарищу. Конечно, пришлось Яше перед Митьшей сознаться, что я у него на вышке прописалась.

Дома у меня дым коромыслом. И в лесу меня искали, и омут обшарили, и в скит к хрѣсной тятя гонял. Мамушку водой отливали. Потом свекровка моя сходила неприметно, шепнула ей, чего надо было.

Вот сидим мы на вышке три дня, сидим неделю. Утром проснешься, а на одеяле, вокруг лица-то, куржак.

Свекровь прямо извелась вся, а старику признаться никак не насмелится. Свекровка мать, ее в деревне баушкой Ревуньей звали, подает ей утром пимы нагретые и шепчет на ухо:

— Снеси молодушке-то тепленькие, как бы не застудилась...

Свекровка-то так и ахнула. Они с Яшей и от бабушки тайлись, чтобы она по старости раньше времени не проговорилась.

Не знаю, сколько бы нам еще на вышке куковать, только встает утром свекровь, глянула — окошки-то льдом схватило. Царица небесная, матушка! Что делать? Топчется у печки, из рук у нее все валится, а старик ни о чем не сдогадывается, уселся хомут починять. Свекровь мается, часа два этак-то прошло, покосился на нее папаша-то и говорит:

— Иди, старая сводня, налеп варнакам-то чайник чаю горячего да тулуп им новый мой подай. Скажи, вечером сегодня пущай слазят. Объявляться пора, хватит, и так девятый день сидят. С попом я договорился, обвенчает. Ну, а сватушка, богоданный Роман Степанович, уж как пожелает, прощать робят али не прощать. Его воля родительская. Приданого Яков не требует, а девку в обиду тоже не даст.

Прощение просить у тяти мы, как положено, до трех разов ходили. Простить простил, а из приданого только постель да из одежонки кое-чего выбросил, а на свадьбу и гроша ломаного не дал. И все равно много раз я его благодарила. Не просватал бы он меня за гундосого, не пнул сагогом в лицо, не убежала бы я к Яше и не узнала бы, какое оно такое на свете счастье бывает.

Романовна опять надолго замолкает, и я стараюсь не нарушить ее тихого, светлого покоя. И молча посидеть рядышком на милой лежанке тоже неплохо.

Я знаю, сейчас она глубоко вздохнет, покосится на меня вопросительно и усмешливо, легонько толкнет локтем в бок и, прислонившись к моему плечу, негромко скажет, певуче, протяжно, низким, удивительно молодым голосом:

— Скатилось, колечко-о-о

— Со правой руке-е-е...— тоже негромко вступлю я, тоненько и очень жалобно.

— Забилось сердечко по милом дружке-е-е...

Не знаю, как со стороны, но нам с бабой Груней наши песни очень нравятся. Все это старинные, пригоlosные, за душу хватающие песни. Поет баба Груня упоенно. По ее мнению, песня человеку совершенно необходима. Она и «хворь отгоняет и силы придает».

На первых порах наши дуэты вызывали удивление и даже кое-какие нелестные для нас подозрения, потому что в трезвом состоянии пожилому человеку у нас петь не принято. Потом присмотрелись и поверили, что нам, чтобы распеться, даже и по одной рюмочке красенького не требуется.

Нередко, заслышав наше «Колечко», соседки говорят:

— Айда, сходим к Добрыниным, послушаем, как старухи поют...

Гостям Романовна всегда рада. Не прочь она посидеть с соседками на скамеечке за воротами, почесать язык, посмеяться, сплетничать по малости.

Но злую, порочную сплетню она ненавидит.

Старую сплетницу оборвет без всякого стеснения на полуслове:

— Оглянись-ка ты, мать моя, на себя. То-то мы с тобой jointly угодницы, праведницы безгрешные!

Молодой насмешливо посоветует:

— Ты, мила дочь, сначала поживи на свете, умочком под-разживись, тогда и людей судить будешь.

— Нет ничего легче, как очернить человека да обхаять...— говорит она сердито, когда мы остаемся одни.

— Другой споткнется по глупости, по молодости лет или по слабости характера... Ты помоги ему подняться, ну, поругай его как надо, накажи, но постой около него, чтобы он еще раз не шмякнулся, поддержи его за руку... Грехи-то, они разные бывают... Прежде чем человека осудить, ты чужой-то грех к себе прикинь...

Она еще немного ворчит, а дальше идет рассказ...

Про бабушку Ревунью и про ее грех

Бабушка Ревунья — это свекра моего, Ивана Данилыча, мать. Я когда за Яшу убежала, ей, однако, уже под девяносто лет было. А Ревуньей ее прозвали за то, что шибко она кричала, как хозяйин ее, дедушка Данило, помер. Я уже большенькая

тогда была, помню. Упадет она на могилку, крест руками обхватит и кричит на голос. Дедушку Данилу николаевским солдатом звали. Тогда в солдаты еще брали на двадцать пять лет. Теперь-то даже и не верится, что такое зверство над людьми творили. Забреют парня молодого, бравого, а отпустят седого старика.

До рекрутчины дед Данило с женой сколько-то лет прожил, детей им бог не давал.

Служил он не то восемь, не то десять лет, и вышел ему срок на побывку домой идти Железных дорог тогда, конечно, не было, ехали долго, а больше пешком шли. Солдаты-то. Отписал он домой письмо, чтобы ждали, и отправился в путь. Не доходя сколько-то до дому, встретился ему мужик свой, деревенский. Тот ему и сказал:

— Ждут тебя домашние, глаза проглядели. А бабу твою вчера с петли сняли...

Не стал солдат допытывать, что да как...

Приходит домой, ну, там, конечно, и радость и слезы рекой. Мать к сыну припала — не оторвешь, а солдатка — в гроб краше кладут. На мужа глаз поднять не смеет.

Набежали, конечно, суседи, сродственники, сватовья. Всем интересно поглядеть, каким солдат на царевых харчах стал, а еще боле охота людям поглядеть и послушать, что солдатка отвечать станет, когда ее муж спросит, как она себя соблюдала, как мужнину честь берегла.

Потому что никто не знал, сегодня или завтра будет солдат бабу учить за немалый ее бабий грех перед мужем.

Ну, не дождавшись представления, чужие все разошлись, осталась в избе только своя семья. А и всей семьи — старики да солдат с виноватой женой.

Солдат сидит на лавке, молчит, ждет...

Вот отец помялся-помялся да и говорит сыну:

— А у нас, Данилушко, прибыль в семействе-то. Нам со старухой бог внука послал. Ванюшкой нарекли, Иваном Даниловичем, значит.— И снимает с полатей парнишечку лет этак уже пяти.

Посадил его солдат на правое колено.

— Что же,— говорит,— батюшка. От прибыли отказываться негоже.

А тут мать, значит, перекрестилась для смелости.

— У нас, Данюшка,— говорит,— еще и внучка Машенька есть...— И тоже снимает с полатей и подает годиков двух девчоночку.

Крякнул солдат.

— Ну, что ж, матушка, люди говорят, сын да дочь — красные детки.

Посадил девчонку на левое колено, а сам на полаты косится.

— А что, матушка, все, али, может, там еще есть?

На другой день как раз воскресенье выпало. Вот утром встал солдат, нарядился в праздничный мундир, на груди у него «Георгий» и сколько-то медалей, велел детей обрядить. Дочку на руку посадил, сына за ручонку взял и пошел через всю деревню к церкви, где по праздникам всегда на лугу народ табунился.

И никто не посмеялся, слова плохого никто не осмелился вымолвить.

Родители солдату рассказали, что не гуляла его жена, не охальничала, как другие солдатки, вела себя скромно и строго. А пошто ребятенки у нее родились, все прямо диву давались.

Вроде бы сами собой они у деда на полатах, как цыплята, вывелись. Жену солдат пальцем не тронул, после солдатчины прожили они еще долгую жизнь, больше детишек она не носила.

И ни разу не попрекнул ее солдат, не пытал про ее грех, не спросил, чьих же детей он растит.

А из Ванюшки да из Марьюшки хороших, добрых людей вырастил. Свекор-то мой, Иван Данилович, и был тот Ванюшка с дедовых полатей.

* * *

Двадцатое число каждого месяца для Романовны — день особенный. В этот день ей приносят пенсию. Не по болезни, не за погибших сыновей, а трудовую, собственную. За тридцать без малого лет работы на колхозной и совхозной земле.

Завидев в окно письмоносца, она словно молодеет от сдержанного волнения и гордости.

— Ну не дура ли старая? — говорит она, сконфуженно посмеиваясь. — До сих пор никак не могу привыкнуть. Всякий раз вроде как премию получаю. Или подарок.

Работала Романовна овощеводом до самой Анютиной смерти, хотя и Анюта и сыновья давно уже требовали, чтобы шла она на отдых.

Два года назад совхоз справил семидесятилетний юбилей Аграфены Романовны. С подарками и поздравлениями приезжали из других совхозов и колхозов ее вьученики. И начальники приезжали не только из района, но даже и из области.

— Речь говорили, и все по ручке со мной. «Спасибо,— говорят,— вам, Аграфена Романовна, что вы так много молодых огородному делу обучили». От парников-то, от овощшей, большой доход стали получать. А звено у меня было — цены нет. Работящие, старательные, чего ни говоришь — прямо на лету хватают. Последние годы они мне самой-то и делать-то ничего не давали: «Ты, баба Груня, только знай командуй. Только бы ты рядом сидела да учила, нам боле ничего и не надо». Песенницы были, веселые... Ох, и скучаю я об них, так и улетела бы хоть на денечек.

Романовна сокрушенно вздыхает, но тут же, что-то вспомнив, начинает тихо смеяться.

— На юбилее подходит ко мне один из больших, видать, начальников, но не старый, взял меня за руку, подержался, потом вдруг скраснел весь с лица и говорит: «Спасибо вам, Аграфена Романовна, не за овощи, а за все, за все. Таки-ми,— говорит,— мать, как ты, многое-многое на белом свете держится!»

Как я начальников бояться перестала

К тридцать второму году народила я Яше дочь Анюту да восьмерых сыновей. Анюта в ту пору просватана уже была, большак Никифор тоже жениться начинал. Двойникам—Мите с Пашенькой — по пятнадцать лет было. Ну, остальные маленькие. Минька-последыш полуторых лет в сылку-то угодил.

Застолье было у нас немалое, но и работники подросли добрые. Хозяйство наше по-тогдашнему называлось середняцкое. Твердым заданием нас не облагали, но и маломощными нас назвать тоже нельзя было.

Когда нас окулачили в деревне-то, всех ровно обухом по голове оглушило. Уважали все Яшу. Грамотный он был, об людях заботливый. А по колхозному делу первый агитатор. Только не любил он, чтобы все сдуру делалось, как попало, успех. Болтовню шибко не любил и никакого начальства не стеснялся.

Окулачили нас, просто сказать, в одночасье. Вечером объявили, а утром вывезли.

Был в народе разговор, что меня с младшими велено оставить, не угонять. Яша-то молил меня ребятшек пожалеть, остаться... Господи! Как же я могла его одного с ребятами, хотя и большими, на такую муку отпустить?

За Анютой ночью жених приходил, мы с отцом уговаривали ее, только не захотела от нас отступить моя доченька. Один Никифор, старший, отрекся от клейменого отца. Через газету, слышь-ка, отрекался, когда нас угнали.

Собраться нам как след не дали. Сняла я с божницы икону, мамино благословение, одела ребят потеплее.

Так вот десять душ и сорвало нас с родного-то гнезда. Загнали нас в такие места, откуда обратно-то редко кто дорогу находил. Тайга, болота, гнус. Земель свободных мало, корчевать надо. А питания плохая, мужики-то у нас скоро слабеть начали. Бабами все только и держалось, недаром же нас двухильными-то называют. Ты вот ученая, растолкуй: откуда баба силы берет, чтобы не помереть и детям не дать погибнуть?

В тех голых местах мы три года были. Хлопотали за Яшу деревенские-то, вышел пересмотр его делу. И голос нам восстановили, и вышло полное оправдание в правах. Только Яша-то того светлого часа не дождался, похоронили мы его в тридцать пятом в тайге. Домой мне без него возвращаться даже и думать было страшно. Хозяйство нарушено, дом в пожар сгорел... Вывезли меня с ребятами из тайги, и приткнулись мы, думали, на время, в рыбацкий колхоз на Оби. Тут как раз Пашу с Митей в армию призвали, Анюта за рыбака, за бригадира, замуж вышла... А я с детьми от Анюты куда же? Так-то вот и остались мы там-отко и прижились. Работала я за двух мужиков, чтобы младших-то сыновей поднять. Их у меня всего-то трое осталось. Один отрекся, двое в армии, а двоих рядом с Яшей в тайге положили... А энти трое, это они теперь такие здоровушки да большие, а тогда из тайги-то мы их чуть живеньких вывезли. Не чаяли мы с Анюткой и выходить-то их.

Там, в тайге-то, я не только Яшу да сынов скоронила. Веру в бога я там потеряла. Шибко я была верующая, шибко я богато любила. Весной случилось. В землянке-то вода подступила. Яша лежит на смертной постели, а на руках у меня сынок помирает, второй уже на неделе. Весь он от голоду опух, и зубики у него все до одиноного выпыпадали... А в углу икона висит, мамино-то благословение... Встала я перед ней и спрашиваю: «Что же ты делаешь, милостивый?! Как же ты такое мог допустить?! Согрешила я в чем перед тобой — ну накажи меня, покарай! За что же ты над детьми-то зверствуешь? Их-то за что караешь? Мало тебе наших мук материнских да отцовских, детской крови тебе захотелось?! Будь же ты навеки от меня трижды троепроклят!..»

Не будь Яши да Анюты рядом, решила бы я тогда ума или руки бы на себя наложила...

Слушать дальше не было сил.

Романовна тоже надолго замолкла. Мы сумерничали, не зажигая огня. Лицо ее смутно белело в полутьме, маленькое, скорбное...

— Ну и как же, Романовна? — спросила я, отдышавшись. — Простила ты Советской власти обиду свою?

Романовна медленно подняла на меня удивленные глаза.

— А передо мной не Советская власть виноватая... — ответила холодно и сдержанно. — Тех, что невинных людей изнистожали, никого уже в живых нету, а Советская власть устояла и теперь навечно будет стоять...

Она опять помолчала, вздохнула...

— В те годы, конечно, всякое в голову-то лезло. Все думалось: как же так получается? Власть своя, народная, трудовая, а в народе у нее вдруг столько врагов оказалось. И не баре какие-то, не кулаки, а самые что ни на есть трудящие: крестьяне, рабочие, опять же партийные... Ох, не надо бы на ночь глядя поминать про то времечко, про страшные те года...

Она отмахнулась, словно отстранила от себя что-то очень уж мерзкое.

— Я ведь хотела про то, как я начальника напугала... Вот слушайте-ка. Было то уже в сорок четвертом году. Мы с Аннотой только что над последней, над четвертой похоронной накричались.

Сначала, еще в сорок втором году, Паша у нас погиб. Потом Анютиногo мужика убили, осталась она с двумя детьми да третьим тяжелая ходила. Потом из госпиталя извещение пришло: помер от ран Никифор, отступник-то наш. А тут уж и на последнего, на Митю, похоронка пришла.

Колхоз наш, однако, самый был несчастный. Пovyбило у нас, почитай, всех мужиков.

Я тогда на полеводстве за бригадира ходила. Дело было осенью. Последний хлеб домолачивали.

Утром в конторе быстро на меня приезжий начальник кричал. Кулаком по столу стучал, тюрьмой грозил. Никак мы не в силах были план-то выполнить. Хлеб-то еще есть немолоченный, транспорту — одна разбитая полуторка да коровенки замордованные. Они у нас тогда за все отвечали: и кормилица, и конь, и все, что хотишь. Сели мы на току обедать, откушу я картошки, жую-жую, а проглотить-то никак не могу, стоит кусок-то поперек горла... А начальники тоже на ток приехали. Один, помоложе, из себя сухощавый, а другой, который кричал-то на меня, не так чтобы шибко толстый, а брюшина через ремень перевесилась, и лицо сытое, румяное.

Мы торопимся, из сил выбиваемся, веем зерно, в мешки, на машину и сдавать. С кулями-то у машины бабы, какие помоложе да посильнее, и парнишки. Лет им по пятнадцать, по шестнадцать, а они у нас за мужиков отвечают. Худюшные, недорослые... Хлеба-то на трудодни нам не доставалось, да еще

тот год засуха была, бескормица, скотинешкой шибко подбились. Только рыбой да картошкой и спасались.

Вот стоят начальники, смотрят, как ребятишки-то с кулями кожлятся. А ветер, пылишша, пот, конечно. Ребята-то, как черти, грязные, черные. Ну и рассмешили они начальников-то: тот, что помоложе, только усмехається, видно, совесть-то еще не совсем жиром затянуло, а энтот, брюхастый-то, так и закачивается.

Смотрела я на него, смотрела, и вдруг такая меня обида взяла, такая на меня тоска навалилась. Господи, ведь не немцы же это, не враги они, наши, свои, советские... Так почему же я боюсь-то их так? И до каких же пор мне их бояться?!

Бросила я лопату в зерно и говорю:

— Вы бы, товарищи начальники, чем над детьми изгаляться, взяли бы да и помогли им кули-то в кузов скидать. У вас, поди, силы-то поболее, вы хлеб кушаете, а эти ребятишки забыли уже, как он и пахнет, хлебушек-то.

Ох, милка моя! Как его только от злости параликом не расшибло! Весь, как индюк, кровью налился, глаза на меня выкаптал.

— Ты что это, тетка, с ума сошла? Выходит, не по душе тебе в колхозе? Голодно тебе в колхозе?

— А чего же,— говорю,— в этом дивного? Нам надо перво-наперво вон экую армию прокормить, это же мужья да дети наши в ней. И городу хлеб нужен... да еще вас вот, захребетников, миллион, поди, не меньше, наберется.

Шипит он на меня, как гусак:

— Ты шшто это говоришь? В тюрьму захотела?

А мне уже вожжа под хвост, и в глазах чернота.

— Ты меня тюрьмой не пугай,— кричу,— в тюрьме какую-никакую пайку дают и на работу по часам гоняют!

Тогда он вроде успокоился, покачал головой и тихо так говорит:

— Вот когда она, кулацкая-то ваша кровь, заговорила, гражданка Добрынина! Вы думали, нам неизвестно, какого вы роду-племени?

Тут и я сразу вдруг кричать перестала.

— Пока,— говорю,— вы тут с бабами воюете, три моих сына да зять за Родину головы сложили, а еще трое своей очереди дожидаются. И не позволю я вам их кулацким отродьем обзывать. У меня бумага на руках, что мы во всех правах восстановлены, и вот еще четыре похоронных. Сегодня же жалобу напишу самому товарищу Сталину.

Тут Романовна начинает неудержимо смеяться:

— Нет, ты слухай, ты слухай! Сталину,— грозюсь,— жалобу подам... Ну, ладно, ты слухай.

Записал начальник чего-то в книжечку, сели они в свою машину и уехали. А вокруг меня такой рев поднялся. Воют надо мной бабы, как над покойником. Анюта прибежала, лица на ней нет. Мои-то парни все же большие, об них я уже не так горюю, а Анюту так-то мне жалко стало, каково-то ей с детишками малыми без меня придется?

Никто в ту ночь не уснул, ждали, когда приедут меня забирать. Бабы по горсточке муки набирали, хлеб пекут, сухари сушат, в тюрьму меня снаряжают. Я перед людьми-то бодрюсь, храбрюсь, а под утро все же прохватила меня медвежья болезнь...

Я тоже смеюсь, потому что невозможно удержаться от смеха, глядя, как неудержимо, заразительно хохочет баба Груня.

— И вот, хошь верь, хошь не верь,— говорит она, просмеявшись,— а с тех пор перестала я перед начальниками трястись. Оно и в те времена бывали хорошие начальники. Приедет, помню, Леонид Петрович — из райкому, я перед ним вроде робею, стесняюсь, хотя он очень нас, колхозников-то, уважал, особенно с женщинами хорошо относился.

Ну а как налетит на меня какой крикун, начнет пужать, и я на него обратно разину рот шире банного окошка, ничего бояться не стала!

Не могу терпеть, чтобы кричали на меня, и все тут!

* *
*

О сыновьях своих Романовна говорит спокойно, без особого энтузиазма:

— А что? Парни у меня ничего... стоящие... из десятка не выбросишь.

Зато очень любит похвастаться невестками:

— Снохи у меня, слышь-ка, все как на подбор. Посажу в ряд — выбирай любую, не ошибешься.

Петрина Капитолина — ну, королева! В избу к ней зайти любо. Чисто все, обиходно, воздух легкий, окошки наскрозь светятся. Ребят родит здоровушших, спокойных, к ученью способных. В праздник снарядится — платье синего панбархату, на шею ожерелье в три нитки, косишша вокруг головы короной. Идет по избе — ровно лебедь белая плывет.

Надэжа Матвеевна, ну энта у нас умница, образованная — фершалица. Люди-то ее все в депутаты али в судьи выби-

рают. И начальники к ней всегда с уважением. Антону-то шибко приходится тянуться, чтобы от нее не отстать. Через нее он и в школу в вечернюю пошел, и к чтению она его приучила.

Ну, а Мишина Томка — это чисто игрушечка. Махонькая, толстенная, веселая. Вся словно на пружинках, так и ходит. Вьетса вокруг Миньки-то — и так его и этак, а он только ухмыляется да сопит, сутунок корявый!

* *
*

Гостям Романовна всегда рада, но очень сердится, когда кое-кто приходит с явным намерением прощупать: правду или нет люди болтают, что баба Груня что-то «знает»?

Вылечила же она у Светки Сычевой маленького, что целую неделю день и ночь криком кричал.

Или, к примеру, Варя Сидельникова два месяца спать не могла, как мать схоронила, до того тосковала, что с могилки-то ее силком уводили. А походила к бабе Груне вечерами — как рукой тоску сняло. А у молодых Скворцовых как получилось? Двух лет не прожили, ребенка годика не исполнилось — начал Виктор от дома отбиваться. Сама Шурка говорила: то, бывало, все ему играть да миловаться, а теперь вроде бы сытый, не слышать, чтобы завел себе какую на стороне, а от жены рыло воротит. Раз только и побывала Шурка у бабы Груни, теперь прямо не узнаешь. Веселая ходит, завивку сделала, туфельки на шпильках. Вчера в универмаге глядим, а Виктор ей комбинацию всю в кружевах покупает.

— Нет, ты послухай-ка только, чего балаболки-то окаянные плетут! Знахарку, слышь-ка, нашли, колдунью... У Светки парнишко криком изошел: лето, жарница, ребенок сопрел весь до мяса, пупок наорал, свекровка, вишь, купать не велит, какую-то золотуху рассыпную придумала. Сама, холера такая, из больницы не вылазит, а дитя в больницу свозить — так «чего они, врачи, понимают!». У Светки груди молоком расперло, а они двухмесячного жидкой кашей через соску кормят. Я слушала-слушала, окошки-то открыты, заходит ребенок, и пошла незвана, непрошена. Накупала ребенчишку с травой-чередой, ее в аптеке дополнила, смазала все складочки гусиным жиром, пупок прибинтовала, бутылочку с соской в поганое ведро выбросила, молодых настыдила: образование по семь классов имеют, а врачам не верят, старух слушают. Вот тебе все и лечение!

А что Вари Сидельниковой касается, так там и лечить нечего было. Мать схоронить — горе немалое, а у Вари горе-то пер-

вое, и после матери оставалась она полной сиротой, одна-одинешенька. Тут все и лечение — не оставлять ее одну, особенно ночью, потому что горе ночью-то самое лютое. Я наговорами ее не лечила, не шептала над ней, не поила ее ничем. Просто стала ей о жизни рассказывать, о горе, какое оно настоящее, горе-то, на свете бывает. Достала из сундучка все похоронные, карточки сынков своих убитых, какие они у меня орлы были. Рассказала о трех могилах, что в тайге у меня остались... Не хорошо, говорю, Варюшка, поглядела бы маманя твоя, что ты над собой в ее память вытворяешь, то-то бы ей горе-то было! Ну еще сколько-то раз поплакали мы с ней и вместе и поврозь, нечевать она ко мне ходила, пока не начала спать хорошо. Вот и все.

Ну, а про Шурку Скворцову рассказывать просто смех один. Ты думаешь, зачем она ко мне прикатила — Виктора своего присушивать надумала. Разлюбил он ее. Все любил, любил, а тут враз и разлюбил. Поглядела я на нее, взяла за руку и подвела к зеркалу.

— Взгляни-ка ты на себя, ягодка ты моя! Какой же мужик на тебя позарится? Двенадцатый час, а у тебя волосья нечесаны, головка не прибрана. Вот идешь ты в люди, и не стыдно тебе, молоденькой да хорошей, платье-то, гляди, на брюхе засалилось, груди распустила, неужели тебе лифчик хороший купить не на что? Шейка у тебя сытенькая да белая, а ведь ты, милка моя, однако, ее от бани до бани не моешь? Ну какому же мужу этакая чучела необходимая не опыстылеет?

Ох, как она скраснела, как зафырчит на меня: «Чего это я перед мужем буду красоваться? Я жена ему, а не любовница!»

— Дура ты,— говорю,— а не жена. Любовнице-то проще всего: не сладилось — и не надо. Не туго запряжено, зад об зад, да и беги назад. А ты жена, и он тебе муж, а не хахаль. Перед мужем-то и надо красоваться, чтобы всегда быть для него красивше всех на свете.

Сердитая она от меня убежала, а все же, видать, кое-что в умишко-то ей запало.

* *
*

В начале лета Романовна еще доходила до опушки леса, но потом она начала быстро слабеть, и дальше наши прогулки пришлось прекратить.

Тогда мы облюбовали чудесный пригорочек на берегу речушки, прямо за огородами. Мастеровитый Антон соорудил для

матери складное кресло, удобное и легкое. Кто-нибудь из внучат нес кресло на наш пригорок, а мы с бабой Груней потихонечку ползли сзади.

Чем более слабой и беспомощной становилась баба Груня, тем больше радости доставляли ей эти походы к речке. Полулежа в кресле, медленно поводя головой, она осматривала просторный, светлый мир. Слева — молодой березняк, а за ним синяя стена тайги, справа — крутой песчаный спуск к реке, тихая, неглубокая заводь, а впереди — широкая, сиреневая вдали луговина заречья...

— Хорошо-то как, господи! — говорит она благодарно, а я боюсь посмотреть ей в лицо: таким оно озарено тихим, счастливым светом, что, взглянув на нее, можно не сдержаться и заплакать. Иногда, очарованно заглядевшись на что-то, невидимое мне, она тихонько ахнет, изумленно и счастливо. Оказывается, на тропинке у ее ног прыгает смешной, бойкий воробьишка, ничего еще не понимает, никого не боится. К осени кресло накрепко установилось в палисаднике, под кустом черемухи. Возвращаясь из тайги, я обычно заносу бабе Груне какую-нибудь лесную диковину — то поздний огонек, расцветший в совершенно не положенное для него время, или какой-нибудь чудной гриб, или просто несколько кустиков тяжелой, спелой брусники.

Хороша была поистине золотая осень, а потом легла зима: светлая, мягкая, тихая. Я уезжала в длительную поездку. На прощание принесла бабе Груне гроздь рябины дивной красоты. Она бережно держит ее в ладони: тяжелые, сочные, холодные ягоды редчайшего рубинового цвета. Она кладет в рот ягодку и закрывает глаза, сморщившись от сладковатой рябиновой горечи.

Я знаю, о чем она думает, и почему закрыла глаза. Завтра сыновья увезут ее в город, в клинику...

* *
*

А возвращаюсь я под самый Новый год и очень спешу, чтобы встретить его под родной крышей. Первый, кого я увидела, сойдя с автобуса, — Антон Яковлевич. Рот у него растянут до ушей, он трясет радостно мою руку.

— А уж маманя-то вас ждет! Все окошки проглядела.

— Жива?

— Да господи! Ничего же такого не оказалось, страху мы все только натерпелись, а ее подлечили, подкрепили, сами

увидите, какая она у нас молодец! — говорит он горделиво и любовно.

И вот мы сидим за праздничным новогодним столом. Перед нами все, что требуется сибиряку для полного удовольствия: и пирог с нельмой, и горячие пельмени, и шаньги с молотой черемухой. И уж, конечно, бутылка доброго вина. И хотя выпить-то нам не придется, мы все же, как все люди, нальем по полной, и, чокнувшись, пригубим, и пожелаем друг другу так же светло встретить еще не один Новый год.

А потом сядем рядком на теплой лежанке и споем самую милую из всех наших песен — «Скатилось колечко со правой руки...»

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Мачеха	3
Баба Груня	47

Мария Леонтьевна Халфина
МАЧЕХА

Редактор — **П. КРАВЧЕНКО.**

А 00127. Подписано к печати 23/VI 1967 г. Формат бум. 70×108¹/₃₂.
Объем 2,80 условн. печ. лист. Тираж 108 800. Изд. № 1180.
Заказ № 1350. Цена 8 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



ОБЛИГАЦИИ СВОБОДНО ОБРАЩАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ ЯВЛЯЮТСЯ УДОБНОЙ И ВЫГОДНОЙ ФОРМОЙ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ.

В настоящее время сберегательные кассы свободно продают и покупают облигации двух таких займов.

По Государственному 3% внутреннему выигрышному займу, выпущенному в 1947 году, проводится шесть основных тиражей выигрышей: 30 января, 30 марта, 30 мая, 30 июля, 30 сентября, 30 ноября и дополнительный тираж выигрышей — 30 сентября.

На один разряд займа ежегодно разыгрывается 62 500 выигрышей на сумму 3 929 180 рублей.

По Государственному 3-процентному внутреннему выигрышному займу 1966 года ежегодно проводится 8 тиражей выигрышей: 15 февраля, 30 марта, 15 мая, 30 июня, 15 августа, 30 сентября, 15 ноября и 30 декабря. На один разряд займа в течение года разыгрывается 75 200 выигрышей на сумму 4 100 480 рублей.



**ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ СВОБОДНО
ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗАЙМОВ!**

Управление гострудсберкасс
и госкредита РСФСР